



Сборник статей

«Слово – чистое веселье...»:
Сборник статей в честь
А. Б. Пеньковского

«Языки Славянской Культуры»

2009

Сборник статей

«Слово – чистое веселье...»: Сборник статей в честь А. Б. Пеньковского / Сборник статей — «Языки Славянской Культуры», 2009

Сборник посвящен 80-летию Александра Борисовича Пеньковского, многогранная научная деятельность которого обнимает многие области языкознания и филологии, от диалектологии и фонетики до семантики наречий, художественной антропоники, словаря Пушкина и Пушкинской эпохи. Разнообразие проблематики публикуемых статей отражает широту научных интересов юбиляра. Ею же продиктовано структурно-тематическое членение разделов: слово и смысл, изучение художественного текста и поэтика, семиотика и герменевтика, грамматика и семантика, фонетика и диалектология. Книга в целом представляет широкий диапазон авторских концепций, многие из которых, по признанию самих авторов, были стимулированы работами и докладами А.Б.Пеньковского. В соответствии с пожеланием авторов тексты статей публикуются в авторской редакции.

© Сборник статей, 2009

© Языки Славянской Культуры, 2009

Содержание

Введение	6
А. Ф. Журавлев	6
А. А. Шунейко (.Комсомольск-на-Амуре)	10
Семантика (тематика) и синтагматика речи	10
Единицы речи	14
Общие характеристики формы речи	18
Прагматика речи (особенности коммуникативного поведения)	20
I	24
Н. В. Перцов. Размышление о лексической семантике пушкинской поры и об одном ее «культурном мифе»	24
Список литературы	46
Анна А. Зализняк	48
1. Дышать и отдыхать	48
2. Значения глагола отдохнуть в XIX в	51
3. Об эффекте ближней семантической эволюции	52
4. Направление семантической деривации	53
5. Словообразовательная и аспектуальная семантика	54
6. Дальнейшая семантическая эволюция	56
Список литературы	58
А. Д. Шмелев	60
Список литературы	66
А. С. Либерман	67
Список литературы	70
В. Айрапетян	71
Сокращения	75
А. Григорян. К истории рус. стыд	78
Л. П. Крысин	80
Отношение «часть – целое» и природа вещей	81
Слова целое и часть в русском языке	82
Способы выражения смысла «часть целого» в русском языке	84
Типы слов, обозначающих части целого	84
Стандартные обозначения количественно определенных частей целого	84
Стандартные обозначения количественно неопределенных частей целого	86
Обозначения неотторгаемых частей целого	86
Обозначения относительно автономных частей целого	87
Обозначения пустот	89
Литература	90
И. Г. Добродомов, И. А. Пильщиков	91
Литература	100
Д. М. Магомедова, Н. Д. Тмарченко	104
Демонизированные локусы в городской панораме	104
Временные границы демонического хронотопа	106

Ресторан	109
И. С. Приходько. Веселый, веселье, весело, веселиться в символистском словаре Александра Блока	116
Конец ознакомительного фрагмента.	126

Коллектив Авторы «Слово – чистое веселье...»: Сб. статей в честь Александра Борисовича Пеньковского

Слова особенно сильны, когда они имеют два смысла, когда они живые глаза для тайны и через слюду обыденного смысла просвечивают их второй смысл...

В. Хлебников

Введение

А. Ф. Журавлев Степень качества

Профессору Александру Борисовичу Пеньковскому за восемьдесят.

Не стану всплескивать руками, мол, не верится.

Верится – ведь знаю я его уже не один десяток лет. Восемьдесятiletний его рубеж хоть и был новостью, но вычислимою, ожидаемою.

Каждый раз неожиданным, вопреки времени и копящемуся опыту контактов с Александром Борисовичем – житейских, приятельских или же ученых, академических, – оказывается он сам.



Человека, не знающего Пеньковского, могут удивить уже некоторые рубежные вехи в его интеллектуальной биографии. Студентом (сначала авиационного института в Казани) он становится необычно рано, в 16 лет: последние три класса средней школы он ужал в один год. При таком старте естественно предположить быстрый карьерный рост в науке. Но нет, кандидатская диссертация (по фонетике брянских говоров) защищена им была поздно – только в 40 лет. Но зато официальный оппонент Варвара Георгиевна Орлова, авторитетнейший и строгий судья,

отдавая должное исключительной добросовестности и требовательности соискателя к самому себе, оценила ее соответствующей по уровню докторскому сочинению. Нынче кандидатская диссертация рассматривается как квалификационная работа, едва ли не как письменный экзамен, и мы привыкли к стремительной инфляции суперлативов, а тогда (1967) такой высокой оценки могло заслужить только выдающееся по своим научным достоинствам разыскание.

Пеньковский – замечательный вузовский преподаватель, блистательный лектор. Этот талант Александра Борисовича я мог оценить, несколько лет подряд исполняя обязанности председателя государственной экзаменационной комиссии на филологическом факультете Владимирского педагогического института (теперь университета). Заглянув в соседнюю аудиторию, где Пеньковский давал заочникам предзачетную консультацию, заслушивался разинув рот. Лингвистические вещи, относящиеся к педвузовскому безусловному тривиуму и которые я с некоторым самомнением считал скучноватыми и понятными как облупленное яйцо, представляли вдруг в новом свете, с неочевидными связями и вовсе не такими тривиальными, как казалось еще полчаса назад. Я не знаю, записывались ли студентами институтские лекции Александра Борисовича на магнитофон или диктофон (теперь эта практичная манера повсюду в большом ходу), но думаю, что если бы такие записи нашлись, их, перенеся на бумагу, можно издавать в неправоленном виде: настолько хороша и логически безупречно выстроена устная, лекторская речь Пеньковского. Его доклады на конференциях и симпозиумах собирают ценителей виртуозного красноречия и великолепной логики.

Пеньковский – превосходный исследователь. Александр Борисович написал, наверное, меньше, чем мог бы: перечень его трудов включает около полутора сотен названий. Это сейчас, оставив преподавательскую деятельность (и развязав себе руки компьютером, что тоже немало важно), он наконец расписался и выпустил за семь лет, с 1999 по 2005 год, три книги (одна из которых – двумя изданиями), а прежде педагогическая каторга отнимала пропасть сил и времени, не говоря уже о шести годах, проведенных в общей сложности на полях страны родной (ежегодная преподавательская повинность надзора за студентами на сельхозработках). Писать приходилось выкраивая немногие свободные вечера, в лучшем случае каникулярные недели. Но ведь вовсе, мы знаем, не длиной списка публикаций измеряется значимость ученого.

Уже по самой принадлежности в прошлом к преподавателям педагогического учреждения Александру Борисовичу приходилось иметь дело буквально со всем циклом лингвистической русистики – от диалектологии и исторической грамматики до анализа поэтической речи и современной коммуникации. Наверное, и эта отчасти вынужденная экстенсивность не могла не сказаться благотворно на качестве наблюдений и идей Пеньковского, которые, при любой конкретности разбираемой задачи, всегда вписаны в объемный контекст более общих интересов и фундаментальных установок. Они не замыкаются в узких схемах, а замешены на умении улавливать переключку далеких проблем, видеть единство в разном и, наоборот, неповторимость каждой составляющей в однородном ряду фактов и явлений. Диалектология, история языка, современный литературный язык, теория нормы; фонетика, фонология, орфоэпия; морфология, синтаксис, грамматическая семантика, теория текста, пунктуация; лексика и лексическая семантика, терминология, фразеология, ономастика (антропонимия), теоретическая лексикография; язык фольклора, язык художественной литературы; герменевтика, литературоведение (прежде всего пушкинистика), культурология... – вряд ли этот список областей русской филологии, к которым прикасался своим пером Александр Борисович, можно найти исчерпывающим.

Перечислять интеллектуальные достижения крупного исследователя, не только беглым очерком, но и в подробном изложении, – дело не очень благодарное: всегда есть опасность что-то упустить, какую-то мысль недооценить, о чем-то для автора существенно важном, но не развившемся в пространственный текст, не вспомнить. Десять лет назад попытку – в перечислительной манере – очертить круг основных идей Пеньковского и научных прорывов, им осуществлен-

ных, предпринял проф. Владимир Иванович Фурашов в сборнике «Филология» (Владимир, 1998), посвященном Александру Борисовичу. Увы, вступительной статьи в половину печатного листа для этого оказалось явно недостаточно. Более или менее полно представить конструктивные идеи, убедительные теоретические построения, открытия, находки, существенные уточнения, сделанные или намеченные в трудах Пеньковского, можно лишь внимательно прокомментировав чуть ли не все его публикации. Каждая его статья, не говоря о книгах, несет в себе острый момент научной оригинальности: это может быть выдвижение совершенно нового предмета для исследования (скажем, семантической «категории чуждости» в русском языке или семантической «категории масштаба», описываемой в его последних работах) либо предложение принципиально нового взгляда на предмет, понимание которого, казалось бы, пересмотру уже не подлежит (типология переходных говоров, фонологическая интерпретация фонетических долгот гласных, степени качества прилагательных, семантика наречий как особой языковой подсистемы, интерпретация системы сочинительных союзов, генезис безличных предложений, функциональная системность русской пунктуации, «сверхтропеический» статус собственных имен в художественном тексте... – продолжать можно долго). Многие посеянные им идеи могли бы стать основой особенных научных направлений.

Пеньковский – необыкновенный читатель. Александр Борисович прочитал, с карандашом в руках, постоянно делая выписки, кажется, всю русскую литературу девятнадцатого столетия и его окрестностей. Не только всю так называемую классику, от Державина и Карамзина до Чехова и, прости господи, Боборыкина, но и чуть не всю мемуаристику, «толстую» журналистику, политические, исторические, эстетические сочинения, изданную частную переписку заметных людей и проч. и уж во всяком случае всё без исключений, что было издано в пушкинскую эпоху. Будучи при этом, замечу, лингвистом – не литературоведом и не историком идеологических эволюций России, а именно лингвистом, исследователем языка. Вооруженный какой-то необычной лингвистической оптикой, умея вчитываться в бесконечно вроде бы знакомые строки, он предъявляет нам другого Пушкина – заставляя понимать его иначе, показывая текстуальные и смысловые бездны, о которых мы не подозревали, рисуя его положение в истории литературы и его роль в истории литературного русского языка в неожиданном, спорном, но от этого еще более интересном ракурсе.

В новейшем пушкиноведении А. Б. Пеньковский стал основоположником целого направления – лингвистической (или филологической) герменевтики, то есть такого подхода к текстам художественной литературы, при котором лингвистические данные используются не для построения истории языка и даже не для изучения языка писателя, а для истолкования «темных мест», которыми, как выясняется, изобилуют классические произведения. Опираясь на обширный, тщательно собранный языковой материал, Пеньковский показывает, как следует понимать тот или иной пушкинский фрагмент и откуда происходят ошибки интерпретации, свойственные нашим современникам. Вот здесь-то и пригождаются экстраординарные способности Пеньковского-лингвиста, которого отличает необычайная чуткость к малейшим, обычно не замечаемым расхождениям между нашими языковыми нормами и нормами пушкинской эпохи, к принципиальным, но не улавливаемым большинством читателей (в том числе читателей-профессионалов) категориальным различиям между нашим языком и языком Пушкина.

Пеньковский – увлекательный собеседник: умный, тонкий, с редчайшим чувством юмора, с непредсказуемыми ассоциациями и репликами «по поводу», деликатный по отношению к иному мнению, умеющий слушать и слышать. Это подтвердят все, кому доводилось вступать с ним в разговор. Я с огромным удовольствием вспоминаю долгие наши беседы – в прокуренном ли купе ночного вагона, везущего нас в Тамбов, на конференцию по грамматической семантике; на пахнувшей ли тыквами и сухими травами «пеньковской» кухне, под довольное урчание дородного кота Мироши, который уткнулся в колени Александра Борисовича; во время ли прогулок по зеленому Козлову Валу во Владимире; по млеющим ли от нежного

сентябрьского зноя улочкам Ужгорода... Но тут речь, кажется, начинает приобретать личные интонации, и я умолкаю.

Лежащий перед читателем сборник – дань уважения его авторов к Александру Борисовичу Пеньковскому, замечательному ученому, талантливому учителю и притягивающему к себе человеку.

А. А. Шунейко (.Комсомольск-на-Амуре) Просветительский пафос в упаковке мажорной шутки. Речевой портрет А. Б. Пеньковского, созданный его учениками-филологами

Живое обаяние неповторимой и милой в своей дивной индивидуальности речи Александра Борисовича Пеньковского известно всем, кто с ним знаком. А знакомых много. И их количество (что важно в рамках темы) определяется не только научным авторитетом, глубиной аналитических прозрений, впечатляющим объемом сделанного и позитивными человеческими качествами, но и характером самой речи Александра Борисовича, которая притягивает и запоминается, создает вокруг себя особое коммуникативное пространство, мягко, но властно подчиняющее себе каждого, кто с ним соприкасается или оказывается в него вовлечен.

Чтобы объективировать настоящий портрет, я (форма автономии продиктована сказанной однажды А. Б. фразой «до мы надо дорасти») решил не ограничиваться собственными эскизными набросками и обратился к людям из круга живого общения А. Б. с вопросами о приоритетных сторонах его речи. В ответ получил достаточно большую совокупность оценок речи (в терминологии Б. С. Шварцкопфа) и сконструировал из них инвариантные идеостилевые характеристики (в терминологии В. П. Григорьева), снабдив их прагматическими комментариями и выявив доминанту (она в заглавии).

Семантика (тематика) и синтагматика речи

С точки зрения широты или узости (А. Б. любит называть обязательно оба члена оппозиции, в чем реализуется его, столь редкое теперь, стремление к буквальной точности) количества затрагиваемых в процессе разговора тем существует два типа собеседников (повествователей): монотематические и политематические. Первые в любой ситуации неофициального бытового (и не только) общения всегда стремятся инициировать какую-либо одну тему или свести любой разговор к ней (о рыбалке, о машинах или о детях, о покупках). Таких людей настолько много, что языковое сознание выработало для них специальную характеристику: у кого что болит, тот о том и говорит. Вторые практически никогда одной темой не ограничиваются, одна тема ими не переносится из ситуации в ситуацию. Например, в размышлениях о поэтике бытового поведения В. М. Живов довольно четко сформулировал доминантные темы разговоров двух значительных филологов: Ю. М. Лотман повествовал преимущественно о военных годах, Л. Я. Гинзбург – о человеческих слабостях. Очевидно, что Ю. М. Лотман говорил не только о войне, а Л. Я. Гинзбург – не только о слабостях, но именно это, по авторитетному свидетельству, были для них предпочтительные темы разговора, следовательно, их можно отнести к числу монотематических повествователей.

В речи А. Б. аналогичного семантического центра (или повествовательной доминанты) выявить нельзя. Это существенный признак, раскрывающий особенности организации языкового материала, за которыми особенности языкового сознания. Практика многолетнего (благодарного и часто восторженного) общения с А. Б. не позволяет определить единой тематической сферы, любимого предмета разговора. У А. Б. доминирующая тема попросту отсутствует, он повествователь политематический, в речи которого представлена совокупность равнозначно важных по частотности упоминаний, степени заинтересованности и иным параметрам

Кстати отмечу, чтобы портрет помещался пусть и в пунктирно намеченной, но все же галерее, что, скажем, Б. С. Шварцкопф, В. П. Григорьев и Н. А. Кожевникова тоже, безусловно,

относились к числу политематических повествователей с частично сходными и существенно различающимися с А. Б. темами, но также без единой главной.

Бытовая речь А. Б. – веер (калейдоскоп или пасьянс) тем, равномерно и прихотливо соединяющихся между собой и раскрывающихся в зависимости от самых разных коммуникативных причин. Дробить их можно с различной степенью детализации, а на наиболее абстрактном уровне определить так: ситуации из жизни, гастрономические и застольные дела, в глубины истории, филология (и две факультативные – дача и поездки за рубеж). В реальном повествовании эти темы оказываются во взаимодействии и часто чередуются по принципу семантической соположенности.

Про жизнь свою и близких людей А. Б. (в этом он очень похож на Б. С. Шварцкопфа и В. П. Григорьева) говорит постоянно. Как правило, в центре повествования не сегодняшний день и не ближайшее прошлое, а уже некий отстоявшийся опыт. Это жизнь, ставшая историей или запечатленная в ней; это реальная история через действия ее участников. С тем же постоянством, с каким, например, Н. А. Кожевникова обращалась к двум темам – истории Института русского языка в лицах и архитектуре Москвы в персоналиях, А. Б. воспроизводит разнообразные случаи из жизни. Эти случаи всегда информационно полноценны, в них есть много поучительного, обязательно смешного и часто таинственного.

Они устойчиво совмещают в себе несколько модальных планов, так что в зависимости от интонации акцентируется какой-нибудь один. А все остальные его поддерживают. Все эти бытовые зарисовки погружают в эпоху и дают живое ощущение времени. Таких замечательных и ориентированных на бытовую колорит рассказов множество, например: О том, как на послевоенном рынке его учили выбирать и покупать махорку. О студенте из первого выпуска, который *так и не понял, почему он должен называть меня на Вы*. О родственнике, ученом из академического института, и ведре вареной картошки. О старой цыганке с когтистой лапой совы на иссохшей груди, о том, что она ему посулила и как это сбылось. Об общении с продавцами в магазинах.

Во всех этих рассказах делается неявный, но обязательный акцент на подробности, которые усиливают достоверность, а перечисление деталей и воссоздание общего антуража при частных вставках погружают собеседника в воспроизводимую среду. В силу этого рассказы приобретают особый вид документированных исторических свидетельств, которые одновременно поражают своей достоверностью и привлекают отсутствием научной сухости и лобовой фактографичности. Они, будучи по природе документальными, напоминают сценарии игрового кино, где визуализация жеста и копирования играют очень существенную роль. Собеседник становится зрителем, на время погружающимся в описываемую среду.

Внешне все эти рассказы ориентированы на украшение речи, поддержание разговора или концентрацию внимания собеседника; они имеют вид легких иллюстраций, вставленных между делом (среди прочего). Но при этом наделены очень высокой мерой поучительности, которая оказывается чрезвычайно разнородной. Это и поучительность факта, и собственно нравственная поучительность, которой А. Б. не чужд, и поучительность языкового материала. С одинаковым успехом примеривая различные языковые маски, рассказчик дает собеседнику объемное представление о широте и разнообразии речевых впечатлений, погружает его в стихию речи в ее самых различных (в том числе и экзотических) проявлениях.

Совокупность рассказов можно сравнить с усовершенствованной фонохрестоматией, куда собраны (где бережно сохранены) показательные формы индивидуальной речи; знакомство с ней развивает набор речевых представлений и навыков собеседника. Возникает впечатление, что живая русская речь, сказанная когда-то в иной среде, продолжает свою трансляцию, звучит не слабым эхом, а проходит сквозь время в своей первозданной четкости и колоритности. Языки сельской базарной площади и городского магазина, университетской аудитории и

академического коридора, шумной улицы и тихой деревенской избы обретают в огласовке А. Б. вид структурированного как гипертекст полилога.

Очевидно, что для создания такого полилога недостаточно одной хорошей языковой памяти. Необходим еще постоянный интерес к речевым формам, совмещенный с целостным представлением о речевой стихии, то есть качества, которыми А. Б. наделен в полной мере.

При этом такие рассказы предполагают еще один эффект: диктуют собеседнику особый тип восприятия рассказчика – приподнимают фигуру самого автора как соучастника или живого участника, как человека с очень богатым и значительным жизненным опытом, мудрого в житейском смысле, много повидавшего и живо воспринявшего события. Опыт истории ассимилируется с опытом человека, в результате трансформирующегося в лицо историческое.

Думаю, если бы у А. Б. было желание, эти рассказы вполне можно издать отдельной книгой.

Кулинарные темы, как правило, локализуются застольными и дачными беседами. Интересно в этой связи, что А. Б., считая себя *кухонным человеком*, любит подчеркивать творческий характер работы на кухне, где для приготовления блюд нужны вдохновение и озарение не в меньшей мере, чем в науке. Это также одно из проявлений его неформатности.

Примеры реализации темы: Рецепт знаменитой сосновой настойки, в основе которой слои свежих сосновых побегов и сахара, с описаниями ее цвета. Рассказы о том, как приготовить французский луковый суп или фаршированную рыбу. Рассуждения о том, что овощное ассорти необходимо закатывать так, чтобы можно было поставить на стол прямо в банке и все это выглядело красиво. Экскурсы в проблему качества самогона. Восхваление варенья из жимолости и из ранета. Общие размышления о том, что мужчина должен уметь готовить сам. Нормативные указания – нельзя пить коньяк как водку и т. д.

В этих рассказах голос А. Б. не совмещается с речевыми масками и демонстрирует повествователя напрямую. Поэтому очень интересно, что в них доминируют слова из семантических полей цвета, запаха и качества. Соединяясь между собой, они создают особые вербализованные кушанья. Не только возбуждающие аппетит, но и насыщающие.

Примечательно в этой связи, что одна из слушательниц лекций А. Б., никогда не сталкивавшаяся с ним в быту (и далекая от гастрономических изысков), так оценила его публичную речь, оговорив, что восприятие базируется на двух метафорических рядах:

Первая метафора – гастрономическая. А. Б. говорил со вкусом: неспешно, обстоятельно, с удовольствием. Он наслаждался, смаковал слова, приправлял их самыми неожиданными контекстами, извлекал из них самые изысканные семантические ноты. Добавлю к этому, что слушать А. Б. было очень вкусно и питательно. А. Б. был щедр, он всех приглашал к пиршественному лекционному столу, надеясь, что публика сможет оценить по достоинству красоту и тонкий вкус подаваемых блюд.

Конкретный тематический план перешел в модальность речи, наложился на несвязанное с ним повествование, воплотился в ее смысловой и интонационной плоти, создал эффект пиршественного наслаждения. Вероятно, это возможно только в том случае, когда сам процесс речи начинает восприниматься как наслаждение. Осуществляется перенос семантики в паралингвистические сферы или конкретная семантика замещается таким способом ее воплощения, ассоциативный план которого оказывается тесно с ней связан. Эта любопытная трансформация возможна только в случае смены сегментного способа выражения на суперсегментный.

Исторические экскурсы, то есть обращения не к личной, а к общей истории, в речи А. Б. формально реализуются в двух типах сообщений: свидетельства из мемуарной литературы и исторические анекдоты. Мемуарная литература – едва ли не самый любимый круг чтения А. Б.

(для сравнения – Б. С. Шварцкопф больше всего любил приключения и детективы); есть здесь предпочтительные авторы, в основном конца XVIII – начала XIX века, например А. Т. Болотов.

Такие сообщения, как правило, носят актуальный характер и связаны с более широкой темой какого-либо разговора. Благодаря упоминаниям исторических фактов, лиц и событий, проявленных через исторические анекдоты или мемуарные свидетельства, рассказчик актуализирует различные времена (как правило, российской истории), выступая как составная часть их всех, уверенно ориентирующийся в них субъект. К российской истории прибавляется библейская.

Примеры реализации темы: анекдоты времен царствования Екатерины II и Александра I, случаи из жизни московских купцов, история цензуры, жизнь литераторов, анекдоты про М. Светлова и т. д.

Обращения к сюжетам этого тематического плана могут выполнять еще две специфические функции: собственно просветительскую и ориентационную. Озвучивая поучительные страницы истории, А. Б. расширяет круг знаний собеседника. В тех же случаях (что бывает нечасто), когда этот круг соизмерим с объемом знаний самого А. Б., упоминания выступают в качестве метединства уровня компетентности или единиц некоего общего языка, знаменующего сходные характеристики в способе мировидения и восприятия реальности.

Если рассказы из жизни создают облик мудрого и знающего в житейском смысле человека, то анекдоты добавляют к этому образу эрудицию и общие знания компетентного ученого. В результате возникает многогранная фигура, совмещающая в себе бытовую мудрость с мудростью исторической.

Филологические размышления (А. Б., как и В. П. Григорьев, не приветствует формального подразделения единого филологического знания на лингвистику и литературоведение) – также одна из доминирующих тем, не локализованная пространственными или временными условиями. Они включают в себя оценки ученых и идей, концепций и взглядов, фактов и способов их подачи, интерпретаций и мнений, сложившихся стереотипов и новаций в самом широком диапазоне, отражающем характер научных поисков и смежные с ним области.

В разговоре о филологии преобладает стремление поделиться не только фактическими знаниями, но и собственными наблюдениями. Щедрость активного и постоянного собирателя материала – одна из характеристик А. Б., делающая его своеобразным культурным антонимом скупого рыцаря. В арсенал обязательных умений университетского преподавателя входит способность (далеко не у всех присутствующая) придумывать новые исследовательские темы. По тому, какие именно темы наставник дает своим ученикам, без труда можно определить его квалификацию: степень разнообразия и мера оригинальности – прямой показатель его исследовательских потенций и широты взгляда. В этом смысле А. Б. – явление уникальное, и не только потому, что предлагаемые им темы всегда интересны, но и потому, что это предложение он осуществляет не только в рамках формальных образовательных процедур (когда необходимо по должности), но и вне их.

Он и в свои уже достаточно высокие годы сохраняет живость умного восторженного юноши, который говорит: *посмотри, как это интересно*. Пространство языка перед его глазами (на его слух) выступает как область, требующая исследования по необходимости своего существования. И А. Б. в это исследование стремится вовлечь как можно больше народу. Он не просто умеет изредка замечать, а постоянно видит то, что нуждается в исследовании. Думаю, что при желании можно даже сформулировать какой-либо коэффициент генерирования идей. У А. Б. показатель этого коэффициента будет самым высоким; отмечу, что высоким коэффициентом генерирования идей отличались также В. П. Григорьев и Б. С. Шварцкопф, у последнего были даже специальные тетради, куда он записывал только темы.

В динамичном и непрерывном порождении новых тем проявляется соединение широты аналитического взгляда, перспективной направленности и щедрости говорящего. Кроме того,

здесь можно увидеть особое отношение к проблеме или к теме как самостоятельному объекту. Озвучивание ее перед другим – это, конечно же, испытание ее на прочность, а кроме того, это стремление дать ей жизнь, выпустить ее в коммуникативное пространство, придать импульс потенциальной разработки. Тема воспринимается как нечто, что обязательно должно иметь развитие, требует внешнего выхода, реализации. Однажды А. Б. сказал: *было бы очень интересно посмотреть, как стиль автора, которым в данный момент занят исследователь, влияет на стиль его статей.*

С филологией совмещаются и жизнелюбивые, «опасные темы» раблезианского толка. В частности, это проявляется в анализе семантики, этимологии, морфологии, характера употребления и культурного статуса мата. Тут мысль А. Б. летала от индоевропейской древности до лексикона соседней пивной с изяществом барковской строки. Но такие темы поднимаются только с близкими людьми. В публичные выступления и лекции А. Б. нередко проникают анекдоты. Например, в лекции о типах склонения А. Б. приводил следующий анекдот: «Император – солдату: "Где поезд?". Солдат: "В депе" Император: "Дурак, депо не склоняется". Солдат: "Перед Вашим Императорским Величеством всё склоняется!"» Запомнили анекдот на всю жизнь.

Само по себе совмещение различных тематических планов характерно для образцовых ораторов (например, представлено в публичной речи Н. Д. Арутюновой и Г. А. Золотовой). Но у А. Б. нарушение границ выразилось еще и в возникновении некоторого промежуточного лекционного жанра – рассказа, который ни к бытовой речи, ни к научной отнести нельзя. Так, три блестящие лекции А. Б.: 1. Как студенту верно организовать свою учебу, вести конспекты и готовиться к практическим; 2. Как студенту готовиться к экзаменам, о типах и пользе шпаргалок; 3. Установочная лекция перед диалектологической практикой с воспроизведением диалектной речи и правил разговора с сельскими жителями.

Соединение тем в реальном разговоре на уровне повседневной речи демонстрирует расширение границ восприятия филологии, представленное в монографиях А. Б. о Пушкине. Получается, что как речевая форма может быть оценена адекватно только с учетом очень большого количества взаимосвязанных параметров, так и конкретный факт реальной жизни может получить верную оценку, только если для его описания привлечен широкий контекст. В синтагматическом отношении между повседневной и научной речью наблюдается полный изоморфизм.

Способ репрезентации и взаимодействие тем прямо указывает на то, что А. Б. является носителем уходящей речевой традиции – культуры устного повествования. Неспешный рассказ в его исполнении – рефлекс коммуникативной среды, в которой устная форма передачи информации равноправно соседствовала с письменной. В изменившемся информационном мире такие островки устной культуры очень ценны и интересны не только как факт истории, но и как реальные коммуникативные формы, постепенно исчезающие из коммуникативного пространства.

Эти формы имеют свою особую поэтику устного рассказа, базирующуюся на очень мобильном соединении различных средств, в своей совокупности ориентированных на реализацию эффективного воздействия в самых различных ситуациях. Поэтика динамически реализуемого смыслового ядра в них предопределяет высокую степень адаптивности, обеспечивающей устойчивость основного смыслового комплекса.

Единицы речи

По формальной коммуникативной установке (или, условно говоря, цели высказывания) в речи А. Б. преимущественное положение занимают прямые констатации и шутки (тоже констатации, но иного типа). Именно они, будучи часто отстраненными, исполняют роли настав-

лений, побуждений, требований, вопросов, просьб. Формальное единство при функциональном разнообразии порождает различные коммуникативные эффекты. Оказывается, что то и другое, не будучи внешне непосредственно ориентировано на воздействие, достаточно сильно влияет на собеседника. В их преобладании, помимо прочего, проявляется привычка человека, которого «и так слушают» и которому, по этой причине, нет необходимости затрачивать дополнительные усилия для организации и активизации контакта с собеседником, который отдает себе отчет в значительности и силе своей речи и важности предметов разговоров.

Прямые констатации актуализируют самые различные сегменты реальности. Например, его характеристика одной из информанток: «*У нее государственный ум, она могла бы руководить министерством*» не только непосредственно оценивает этого человека, но и содержит в себе ряд скрытых побуждений, обращенных к собеседнику – «будь наблюдателен и помни о том, что социальный статус человека часто не связан с его интеллектуальным статусом».

Активное использование готовых речевых форм – цитат из различных источников с явным преобладанием библейских и фразеологических оборотов придает речи и конкретным высказываниям эффект контекстной вовлеченности в высокие сферы. Повышается ее аргументационная и убедительная сила и одновременно формируется фон восприятия сказанного не как сиюминутного замечания, а как глубоко осмысленного утверждения, убедительно коррелирующего с бесспорно авторитетными речевыми формами. При этом сами цитаты часто воспроизводятся иронически, что продуцирует многозначность интерпретивного плана.

Очень интересной и ярко индивидуальной особенностью является использование перечислительных синонимических рядов фразеологизмов, акцентирующих внимание на оценке факта, делающих эту оценку непреложной: *ни два ни полтора; ни рыба ни мясо; ни в городе Богдан, ни в селе Селифан...*

А. Б. любит воспроизводить факты без комментариев с одной интонационной оценкой. Фразу секретаря обкома, который, прослушав в порядке партийного контроля его лекцию по церковнославянскому языку, выразил неудовольствие по поводу того, что студенты работают с текстами из Священного Писания, А. Б. передавал без комментария: «А почему бы Вам не перевести на церковнославянский "Манифест Коммунистической партии"»? В таком способе репрезентации можно увидеть одно из многочисленных проявлений корректности А. Б. и разными средствами проявляемого им уважения к собеседнику. Опуская оценку, А. Б. говорит: я тебя достаточно уважаю и считаю достаточно умным, чтобы объяснять тебе эти вещи.

Обращает на себя внимание частотно представленное в речи А. Б. стремление к различным типам переноминации или необщепринятой номинации объектов, в том числе к индивидуальным вторичным номинациям. Например: разговорные номинации окружающих реалий (что в меньшей мере было характерно и для речи Б. С. Шварцкопфа). Пердизиум – «места в автобусе, на которых пассажиры находятся лицом к остальным». Оценка мужа одной из собеседниц: «Мы с вами одной породы – шутконосы» и т. д. В этих и подобных случаях можно увидеть связь с общим интересом А. Б. к именам собственным и свойственное ему стремление к переструктурированию мира, обращения окружающего пространства в пространство личное, воспринимаемое не через призму принятого всеми кода, а через индивидуальную призму. Так, автор этих строк в речи А. Б. – *фис*, то есть «факультативный член семьи».

У А. Б. присутствует умение озвучивать устойчивые выражения так, в таком контексте, что они становятся компактными и очень ёмкими маркерами актуальных жизненных ситуаций, по сути своей превращаются в градуировку некой абсолютной оценочной шкалы. При этом изначальное озвучивание не сопровождается комментарием, но в силу интонационной экспрессии все становится понятно. Например: *Благодаря или вопреки* – «указывая на формальную или внешнюю связь между фактами, всегда следует помнить о том, в каких содержательных отношениях они находятся» (в разговоре о том, что Тарковский большинство своих фильмов снял в СССР). *Не надо ломиться в открытую дверь* – «прежде чем формулировать

некое сильное теоретическое утверждение, выясни, не существует ли оно уже в иных огла-совках» (в разговоре о статусе нейтральных компонентов синонимических рядов). *Наличие отсутствия* – «факт формального и/или содержательного отсутствия чего-либо в каком-либо контексте может быть более значимым, чем присутствующие единицы» (при разговоре об официальной информации).

Особое место среди таких формул занимает *презумпция художественности* – «при восприятии любого художественного текста априори необходимо исходить из представления о том, что любой его компонент является эстетически значимым, противоположное нуждается в специальных доказательствах». Повтор этой максимы оказывается устойчиво связан с общей ориентацией на высокие демократические ценности и часто сопровождался указанием на то, что это *так же, как презумпция невиновности в демократических странах*. Во всех этих формулах обращает на себя внимание соединение собственно филологического и идеологического смыслов, их двунаправленная ориентация на языковые и внеязыковые проблемы, умение суммарно представить в них сконцентрированный универсальный опыт.

Сильный эффект межличностного взаимодействия продуцируется не за счет того, что А. Б. тянет к себе собеседника за уши императивами с семантикой "слушай, а вот я тебе сейчас нечто важное скажу", а посредством того, что просто говорит важное. Он не притягивает или внешне подчиняет, а вовлекает. Показательна в этом отношении еще одна метафора:

Вторая метафора – водная. Речь А. Б. лилась не бурным мутным потоком, а текла ровно, сдержанно, так, что поверхность воды кажется ровной и гладкой, в то время как мощное подводное течение подхватывает тебя и куда-то неумолимо увлекает. И лишь в конце лекции, оглянувшись, обнаруживаешь себя в абсолютно прозрачной, чистой и глубокой заводи, сквозь толщу прохладной воды которой ясно прорисовывается роскошный рисунок речного дна.

Границы между собственно констатациями и шутками в речи А. Б. часто оказываются размытыми. Предлагая запомнить название улицы, на которой он поселился в Москве, – имени литовского поэта Донелайтиса, – он это имя озвучил таким образом: «Да не лайтесь и не ругайтесь». Изображая обиду обывателя по поводу издавна существовавшего в нашем обществе социального неравенства, любил цитировать персонажа повести Пильняка, разлагавшего на самостоятельные семантические единицы составляющие слов *коммутаторы* и *аккумуляторы*.

«Кому – таторы, а кому – ляторы». Крепкое мужское ругательство приобретало ихтиологический код: «Минтай на хек, бельдюга!» и мн. др. Шутки самого А. Б. или актуализируемые им тут же проникали в окружающее коммуникативное пространство и циркулировали в нем подобно тому, как это происходило со ставшими уже классическими фразами Ф. Г. Раневской.

Ироническое восприятие фактов и постоянное обращение к шутке тесно связано с языковой игрой, наличие которой справедливо воспринимается в качестве одной из особенностей речи интеллигенции (Л. П. Крысин и др.). А. Б. мастер и страстный пропагандист знаменитой игры «Почему не говорят...», справедливо полагающий, что ее использование – стимул к развитию языковой компетентности. Эта языковая игра актуализирует и развивает речевые навыки, расширяет, вырабатывает нетрадиционный взгляд на языковые формы, тренирует в этом смысле навык к анализу, воспитывает способность увидеть формы с новой точки зрения. А смена точки зрения продуцирует новые взгляды и выводы.

Одна из функционально значимых единиц речи А. Б. – пауза (вернее, разнотипные паузы). Не случайно многие его слушатели обратили внимание на способность А. Б. паузировать речевые отрезки так, что посредством молчания осуществлялось приращение новых смыслов. Оценки демонстрируют, что семантика осмысленного молчания запоминается носи-

телем языка не меньше, чем семантика речи, если за этим молчанием скрывается не зевота или лихорадочные поиски подходящего слова, а живая полноценная мысль.

А еще А. Б. умеет держать паузу – совершенно по технике Станиславского;

Молчание. Дает время осмыслить сказанное, и создается ощущение, что он в этот момент развивает какую-то логическую цепочку, выбирает главное;

По-моему, пауза, умение держать паузу – самое запоминающееся в речи А. Б.

Конечно, семантика этих пауз во многом определяется контекстом окружающей речи, но они и самостоятельно (да еще при поддержке знаменитого взгляда А. Б.) способны сказать многое.

Еще одной полноценной самостоятельной и функционально значимой единицей речи А. Б. можно считать клуб дыма. Лет двадцать тому назад по степени приверженности к табакокурению с А. Б. в филологической среде мог соперничать разве что В. П. Григорьев (заглазно называемый Дымокур Петрович). Длительность разговора с ними можно было с большой степенью точности измерять количеством выкуренного. При этом в разговоре с А. Б., кроме непосредственных участников, функциональностью полноправного компонента коммуникативной ситуации наделялась еще и пепельница. Ситуация: после очередного запрета на курение в институтах А. Б. стоит в коридоре и курит, мимо проходит ректор и неуклюже пытается сделать ему замечание. «А у меня есть пепельница», – следует беспроигрышный ответ А. Б., сопровождаемый тем, что эта самая бумажная пепельница подносится некурящему ректору со всем ее содержимым прямо под нос.

В семиотическом аспекте очень интересно восприятие процесса курения в пространстве тоталитарного государства, где курение подчас становилось одним из способов не простой самоидентификации, а демонстрации отношения к режиму. Это отдельный, но важный для темы сюжет, потому что, даже если не выходить за рамки лингвистики, совершенно очевидно, что речевое поведение курящего человека существенно отличается от речевого поведения некурящего: сигарета диктует свою жестикуляцию и мимику, а манера курить оказывается тесно переплетена с манерой говорить. Поэтому воспринимать клуб дыма как единицу речи можно только на грани шутки и серьезной констатации. Так, для А. Б. затяжка и клуб дыма непосредственно связаны с его мхатовской паузой – могли заполнять ее или использоваться для ее создания. Равно как изготовление пепельницы из бумаги (отличный вариант) в ситуации разговора на подоконнике становилось осмысленным поводом к темам или новой паузе. А манера именовать иностранные сигареты их переведенным на русский язык названием – одной из собственно лексических характеристик.

То есть клуб дыма буквально тянет за собой иные характерологические особенности речи: ее мерную паузированность или специфический ритм, особенности и движение взгляда (и мимики), присутствие характерных консонантных призвуков, наличие постоянного (про запас) повода отвлечься или переключиться, меру ее интимности и т. п. И все это можно воспринимать как полноценные речевые характеристики, тем более что собеседники обращают на них внимание:

И всегда лукавая интонация, и глаза с прищуром, и глубокая затяжка сигареты, и многозначительный выдох клуба дыма, и поощрение: «Ну что ж, доказывай, авось что-нибудь получится»;

Во время курения внешне проявлялось различное внутреннее состояние: иногда он был отстраненным, погруженным в себя, а иногда замечал меня, тогда его взгляд становился веселым и лукавым.

Общие характеристики формы речи

Даже при фактической спонтанности речь А. Б. практически всегда последовательно выстроена: причины и следствия, аргументация и выводы, главное и второстепенное всегда четко увязаны и совмещены с логичностью и развернутостью, помещенными в достаточно строгую композиционную форму. Вместе с А. Б. говорит навык и филологическая традиция, говорят любимые авторы. Но эта выстроенность не производит впечатления схематичной заданности и искусственности. В общей характеристике речи парадоксально сочетаются две стихии – ее внутренняя ориентация на книжность и ее внешнее восприятие в качестве живой, динамичной, естественной и очень свободной в своих вариациях:

Весенняя гроза с громом и молнией. И вообще, казалось, что он занимает большое пространство, не оставляя вокруг себя свободного места.

В то же время речь А. Б. – «гроза» без резких порывов ветра и сломанных сучьев. Речь характеризует медлительная мерность и корректная паузированность в сочетании с отсутствием внешних эффектов и достаточно скупой (сдержанной) жестикуляцией, представленной, главным образом, жестами вовлечения или обволакивания.

Несуетливая речь. Каждый элемент значим. Нет эффектных интонаций и жестов, игры голоса. Но речь завораживает именно важностью, содержательностью мысли.

Темп речи практически никогда не убыстряется. Но может замедляться на наиболее важных вещах.

Нелишним представляется отметить, что эти характеристики исходят, в первую очередь, именно из содержательных особенностей. Мы сталкиваемся с достаточно редкими случаями, когда восприятие продуцируется семантикой, основано на ней. Здесь же форма отодвигается на второй план (как в художественном тексте высокого уровня). И полное отсутствие внешних признаков традиционно понимаемого трибуна с его обязательной эффектно-броской манерой подачи, с расстановкой акцентов всем телом на практике продуцирует образ задушевного мудрого собеседника, оказывающего гораздо большее воздействие на внимательных слушателей.

Во время публичного выступления А. Б. говорит

как поэт-философ, любясь произнесенной фразой, как бы пробуя ее на вкус. Часто обращается в пространство, ни к кому конкретно, говорит обобщенно.

При межличностном общении, напротив, концентрирует внимание на собеседнике выразительным взглядом:

Во время речи он часто разводил руками, наклонял голову, всматривался в лицо собеседника, скрещивал руки на груди.

В обоих случаях присутствует общий налет академической отстраненности. Она не только не вызывает отторжение у собеседника, но служит опосредующим звеном, связующей скрепой, обеспечивающей единство ситуации и пробуждающей уважительный интерес, который влечет за собой концентрацию внимания.

Речь А. Б. совмещает в себе доступность и нетривиальность. Однажды он иронически оценил одного своего постоянного собеседника: *словечка в простоте не скажет*, подразумевая под этим устойчивое и не всегда безуспешное внимание того к внешней форме своей речи. Сам он более всего боится тривиальности, безвкусной нейтральной нормы, но ему это никогда и не грозило.

Ироничность А. Б. отмечают все собеседники в качестве одной из доминирующих черт. Важно, что это не ироничность всезнания или холодного скепсиса, а ироничность сомнения, размышления и поиска. Ирония А. Б. приоткрывает нам сферы языкового сознания, в которых адекватное понимание себя совмещено с твердым знанием условности используемого метода и с тем, что все в конечном счете разовьется своим чередом: *и у тебя будет*. Любопытно в этой связи то, что А. Б. человек не модный, в частности он никогда не был приверженцем столь популярной в филологической среде скоротечной научной моды. Он строгий и последовательный эволюционист.

А. Б. любит совместить соленую шутку и тонкую ироничность так, чтобы в результате получилось образование, предполагающее одновременно несколько прочтений. Это и испытание собеседника на сообразительность, и прямое следствие того, что он часто говорит о вещах, не предполагающих однозначных решений. То есть это ирония и шутка в своих классических вариантах, известные как юмор сотрудников института Нильса Бора.

Все эти особенности представлены в бытовой и в публичной научной речи, за исключением того что в публичной ироничности гораздо меньше и она никогда не распространяется на факты и на выводы. Область языковых фактов для А. Б. вообще приближена к сакральной и даже сопровождается специальным ритуалом (резание карточек). Языковой факт – это божество, предельно уважительное отношение к которому со стороны А. Б. воздает ему сторицей. Так, по поводу ведения научной дискуссии:

Но это было всегда изысканно-корректно, в высшей степени достойно.

Высший пилотаж научной дискуссии, искусства диалога.

А. Б. – один из немногих ученых, которым аплодируют на научных конференциях, отмечая одновременно и исследовательский вклад и форму.

Отдельный интерес представляет собой то, каким образом общие характеристики речи А. Б. соотносятся с наблюдениями лингвистов над особенностями речи интеллигенции. Останемся на нескольких сюжетах.

По мнению Л. П. Крысина и Т. М. Николаевой, речь интеллигенции отличается настороженностью к языковым новшествам и консерватизмом.

Речевой консерватизм характеризует и речь А. Б., но в реальной практике эта общая особенность приобретает индивидуальные черты, проявленные в том, что применительно к А. Б. можно говорить только об относительном консерватизме. Он, безусловно, реализуется в том, что речь по темам и по образцам имеет доминирующую ретроспективную ориентацию. С этим, в частности, связано практически полное отсутствие в речи А. Б. жаргона, что также считается одной из характеристик речи интеллигенции (об этом писали Е. А. Земская, О. П. Ермакова и др.).

В то же время консерватизм – только общая база, некая высокая пьедестальная традиция, на которой развиваются и действуют объекты, от канона далекие.

Консерватизм воплощен в основе, но не в подходе, то есть традиционные модели постоянно получают новое индивидуальное воплощение. В результате продуцируется «традиционное новаторство» или воплощается очень мобильная (живая) традиция. Отторгается же (как правило, через ироническое переосмысление) сиюминутная речевая мода, то, что В. Г. Костомаров называет речевым вкусом эпохи. Но с этим отторжением соседствуют новации в соответствии с высокими образцами. В силу этого сама традиция испытывается на прочность и ей обеспечивается новационная трансляция.

Характерное для интеллигенции умение переключаться в процессе общения с одного речевого регистра на другой, отмеченное Л. П. Крысиным, представлено в речи А. Б. с мастерской последовательностью и осуществляется без каких-либо видимых усилий, демонстрируя предельно широкую ориентацию в языковых формах и одновременно показывая знание спе-

цифики различных коммуникативных ситуаций. Однажды во время одной из диалектологических экспедиций А. Б. буквально двумя фразами не только привел в чувство двух изрядно подвыпивших аборигенов, которые излишне активно интересовались студентками, но и вызвал у этих аборигенов законное уважение. Такое же уважение он вызывал у старообрядцев, когда на вопрос: «А по-нашему читать можешь?», – читал и цитировал их книги. Анекдотичным примером такого выражения может служить ситуация, когда буфетчица в Домодедово приняла А. Б. за Евгения Евстигнеева.

По утверждению Ю. Н. Караулова и Л. П. Крысина, для речевого общения характерен высокий удельный вес прецедентных текстов. Выше показано, что речь А. Б. в этом отношении не является исключением, но, при этом, демонстрирует две яркие особенности. 1) Л. П. Крысин отмечает, что речь интеллигенции наполнена, в первую очередь, прецедентными текстами из арсенала культуры, а речь простого народа – прецедентными ситуациями. В речи А. Б. это противопоставление снято – в ней в равной мере присутствует и то и другое, реализуя некоторую универсальную позицию говорящего. В таком соединении, опять же, можно видеть способность А. Б. переключаться, говорить со всеми и ранжировать характер своего речевого поведения. Так, для А. Б. одним из предметов личной гордости является умение говорить с продавцами и быть понятым ими (Б. С. Шварцкопф рассказывал, что В. В. Виноградов с продавцами кулинарии на Арбатской площади говорить не умел). 2) Фоновая функция таких текстов в речи А. Б. замещается тем, что они часто становятся центрами повествования. В чем проявляется его ориентация на постоянное восприятие себя и своей речи в контексте, восприятие ее не как сиюминутной (направленной только на здесь и сейчас), а как более значительной. Продуцируется речь в пространстве истории вне социальных и образовательных срезов, полноценно демонстрирующая адаптивные возможности говорящего.

Все это создает подчеркнутую мягкость и корректность в соединении с осязаемым коммуникативным напором, поддерживаемым осознанием собственной правоты и предопределяет многие прагматические характеристики.

Прагматика речи (особенности коммуникативного поведения)

Близкий друг А. Б. – Б. С. Шварцкопф не один раз повторял: в речи воздействует то, что отклоняется от нормы. Вся речь А. Б. – сплошное отклонение, концентрирующее на себе внимание, но при этом такое, что оно поражает, восхищает, цепляется за память, но не отталкивает. Virtuозное владение речевыми формами и их деформации, раскрывающие прагматическую силу единиц, создают эффект ненавязчивого воздействия через шутку и юмор.

А. Б. умеет целенаправленно организовывать коммуникативное пространство для людей, с которыми он контактирует, и в личностном плане, и в плане их взаимодействия с другими людьми. Например, организует знакомства их и включения в разговор именно с такими людьми, беседа с которыми будет полезной в высоком смысле этого слова.

Сам же он при реализации контакта или при его организации демонстрирует постоянную расположенность к общению, отсутствие коммуникативной преграды в любой ситуации и реализует стратегию контактного взаимодействия. Он всегда продуцирует открытую речь – не «между нами», не «на ушко», а прямо и открыто, то есть ведет себя как человек, которому нечего и не перед кем скрывать. При этом открытую речь часто сопровождает эффект рождения мысли, установка на выявление, а не на начетничество. Отметим, что эта установка парадоксально связана с доминированием в речи констатаций.

Связанные с координацией с собеседником вопросы находятся в сфере размышлений А. Б., например один из его рассказов воспроизводит разговор директора академического института с рабочими. Уже отмеченное выше умение ранжировать свою речь в функциональном плане очевидно предполагает способность координировать свое поведение в зависимости от

типа собеседника. Способы координации располагаются между двумя противоположными точками: абсолютное дистанцирование (разговор с пьедестала) и полная подстройка (принятие манеры собеседника). А. Б. всегда находится в центре, ему одинаково чуждо и первое и второе. Он подстраивается дистанцируясь и дистанцируется подстраиваясь.

Он не навязывает, а предлагает тип совместного коммуникативного поведения, который оказывается комфортным и приемлемым для обеих сторон. А уже вслед за этим в рамках и тональности разговора на равных организует речь так, что в ней главенствующим является именно предмет разговора, а не характеристики собеседников. То есть он умеет отстранить личные амбиции, такое понятное многим людям желание быть первым, а сконцентрироваться на сути речи. Здесь и происходит органичное втягивание в предмет разговора:

Мыслил вслух, втягивал в процесс размышлений.

А все это подкрепляется тем, что мера его личностной заинтересованности передается собеседнику, заражает его и ко многому собеседника обязывает. Она не оставляет ему выбора или возможности уклониться. Собеседник буквально оказывается в мягком плену предложенных обстоятельств. И не может выйти из этого плена и потому что он приятен, и потому что он полезен, и потому что нет причин выходить, а сам выход может обернуться проигрышем для собеседника.

Создание особого кооперативного или конвенционального (внешне равноправного) взаимодействия, в рамках которого главным определяющим фактором оказывается нечто большее, чем реальные собеседники (мысль, идея, поступок, чувство, в принципе, – любой обсуждаемый вопрос), – редкое искусство, которым А. Б. владеет в совершенстве. И умеет его передавать не через формальный метод, а через конкретный пример, через сам процесс, разговор, в длительности которого осуществляется трансляция не только предметного, но и коммуникативного (методологического и практического) знания. Поэтому разговоры с А. Б. для любого собеседника практически всегда значительнее традиционно понимаемых бесед даже с очень осведомленным человеком. Именно этим во многом определяется магия речи А. Б. Не затрачивая видимых усилий для того, чтобы приподнять собеседника до своего уровня, и, одновременно, не играя с ним в поддавки (не приседая), он говорит: давай поразмыслим над тем, что важнее нас. И это важно обязывает ко многому, во всяком случае гарантирует благодарную реакцию собеседника.

Аналогичный эффект наблюдается и в лекционной практике.

Думается, что речь А. Б. обращена к идеальному адресату. Он предполагает в слушателе способность полного понимания, и потому лекционный монолог в его исполнении звучит как диалог с равным и интересным ему собеседником. А посему самооценка моя во время лекций А. Б. стремительно повышалась, и лишь некоторое время спустя, когда чары рассеивались, и я выходила из-под власти обаяния речи А. Б., приходило грустное осознание своего несовершенства;

Обращаясь ко всей студенческой аудитории, он видел в ней именно собеседника. Мы ему были интересны как собеседники, пусть и пассивные, жадно поглощавшие всё, о чем он говорил;

Когда я слушала его, то мне казалось, что он предугадывает мои мысли, но выстраивает их логично и оформляет красиво.

Думаю, что в данном случае речь идет не столько о предугадывании, сколько о внушении, о специфической способности говорить так, что собеседник сказанное другим воспринимает как свое. Для реализации подобного эффекта нужно обладать не только большой мерой убедительности, но и способностью органично проникнуть в языковое сознание собеседника, не разрушив его целостности.

В разговоре А. Б. постоянно стремится к уменьшению или сокращению дистанции при осуществлении коммуникативного контакта. Об этом говорят варианты продолжения предложенного разным людям начала фразы: «Собеседник для него...» «человек, причем уважаемый»; «зеркало, в котором он ищет отражение своих мыслей». Но при этом коммуникативная дистанция остается: «В разговоре с ним я чувствую себя, словно...» «одновременно как уважаемый коллега и послушная ученица»; «казалась себе иногда абсолютной душой, а иногда по Левидову: "Как это мы с Толстым!"»; «естественно, как ученица». Сохраняющуюся дистанцию продуцирует рефлексия собеседника, соотношение характера речевого поведения А. Б. со своим собственным и выводы на этой базе.

При этом А. Б. всегда беспокоит, как и в каком качестве его воспринимают. Заботит не в том смысле, в каком выпендренника беспокоит, произведено ли на публику необходимое впечатление, или женщину беспокоит, произведет ли должный эффект ее новый наряд. Беспокойство А. Б. – это беспокойство быть понятным и доступным, это беспокойство не за себя, а за сообщаемую мысль, за интеллектуальный или эмоциональный посыл и за собеседника. Всё по формуле Честертона: «Сам я никогда не относился всерьез к себе, но я всегда всерьез относился к своим мнениям».

Коммуникативная установка, устойчиво реализуемая А. Б., в целевом плане характеризуется исключительно перспективной направленностью. Речь ориентирована на здесь и сейчас только как на базу для того, что будет там и потом. Это особым образом реализованная в речи позиция, в соответствии с которой то, что говорится сейчас, будет иметь значение в будущем и значение самой речи, её эффективность определится наличием или отсутствием некоторого, не обязательно вербализуемого, результата в будущем. Такая особая темпоральная установка на будущее проявляется самыми различными способами: от прямых указаний до прогнозирования некоторых необходимых действий для достижения результата. Примеров того и другого множество. Шутливое замечание во время лекции: «Шумите, шумите, у меня впереди вечность». Размышления о том, какие поколения будут воспитывать нынешние студенты, неоднократно озвученная им и Б. С. Шварцкопфом принципиальная перспективная нравственная установка: передашь другому.

Если я спрашивала о чем-то во время консультаций по диплому, то никогда не давал готовый ответ, говорил: «Ищи, думай». И находила, и думала. Даже если возникали какие-нибудь сомнительные или просто завиральные идеи, никогда не было снисходительно-высокомерной оценки, резкой отповеди.

Собеседник (студент) для него был не пустым сосудом, который он наполнял (причем до положенного программой уровня), а, скорее, растением, ростком, за которым нужен уход, внимание, забота, который нужно удобрять, а там, глядишь, и толк будет.

Эта перспективная темпоральная направленность в совокупности с ретроспективными темами создает особое коммуникативное поле растянутого времени. Получается динамичное актуальное «всегда». В нем находится А. Б., и в него же он незаметно комфортно помещает собеседника, продуцируя у него тем самым подсознательное понимание того, что жизнь не исчерпывается и не ограничивается «здесь и сейчас» (они второстепенны), и стремление соответствовать высокому доверию собеседника. В содержательном плане все это совмещено с проявлениями модальной полярности.

Все перечисленные характеристики в комплексе создают легкую значительность или значительную легкость, соединение основательного и подкрепленного имплицитно присутствующим объемом информации пафоса с шуткой. А. Б. умудряется умело балансировать на грани двух взаимоисключающих модальных планов (пафосного и ироничного), актуализируя их наи-

более выигрышные стороны для компоновки некоего нового единства. Его речь – живой анализ мира и языка, ориентированный на собеседника, с актуализацией значимых категорий в их естественном речевом преломлении. Он умудряется осуществлять симультанную биполярную концентрацию: на предмете речи и ее форме, с одной стороны, и на собеседнике – с другой. Каждый думающий лингвист знает, насколько сложно это сделать. А. Б. это удастся. И да способствуют ему Высшие силы в продлении его благородного служения.

I

Слово и смысл

Н. В. Перцов. Размышление о лексической семантике пушкинской поры и об одном ее «культурном мифе»

(над книгой А. Б. Пеньковского «Нина...»)¹

Настоящая работа представляет собой исправленный текст статьи, в основном писавшейся восемь лет назад, осенью 2000-го и в начале 2001 года. Я предложил её тогда в «Вопросы языкознания», и хотя внутренние рецензии на работу были положительны, редколлегия сочла её не соответствующей тематике, освещавшейся в журнале. С тех пор работа покоилась в электронном виде, кочуя от одного моего компьютера к другому. Приношу читателям и юбиляру свои извинения за то, что я был не в силах по-настоящему учесть в новом тексте то, что произошло в отечественной филологии за прошедшие восемь лет – в частности, новые незаурядные достижения А. Б. Пеньковского на ниве изучения языка Пушкинской эпохи, а среди них – второе издание «Нины...» [Пеньковский 2003] и книгу [Пеньковский 2005]. [Второе издание, правда, присутствует здесь в виде постраничных ссылок, оформляемых в виде выражений «с. т/т), где с. – сокращение для слова «страница(-ы)», т – номер(-а) страниц(-ы) по первому изданию, а и – по второму; так же даются ссылки на примечания.] Я всё же надеюсь, что основное содержание этой работы не утратило актуальности.

Еще одно предварительное замечание относится к режиму воспроизведения текстов, созданных в старом правописании. Я являюсь решительным сторонником аутентичности при таком воспроизведении в работах, обращенных к филологам (а не к массовому читателю): правописание несет значимую, функциональную нагрузку, оно не является чем-то посторонним, внешним для текста (вроде упаковки для товара), как утверждают иные филологи. (Этой проблеме посвящена моя статья [Перцов 2008]). Так следовало бы давать цитаты и в настоящей работе в случае доступности соответствующих источников, не боясь расхождений со случаями их недоступности. Не сделал я этого не только из-за нехватки времени: меня смущало смешение разных режимов воспроизведения текстов при моем собственном их цитировании и при вхождении их в цитаты из «Нины...». Поэтому в предлагаемой работе мне пришлось смириться с обычным режимом цитирования старых текстов в современном правописании, распространенным в нашей филологии и, с моей точки зрения, непринципиальным и некорректным в филологическом исследовании.

Наконец, последнее предупреждение. Я позволяю себе одну орфографическую вольность, отвечающую моему орфографическому вкусу: именно, отступая от принятого правила, я пишу относительные

¹ Настоящая работа частично выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 07-06-00082-а) и Российского гуманитарного научного фонда (грант № 08-04-12127в).

прилагательные, производные от личных собственных имен, всегда с прописной буквы — *Пушкинский*, *Лермонтовский* и т. п. (оставляя, разумеется, в цитатах написание источника).

Декабрь 2008 г.

На исходе прошлого столетия, в конце юбилейного Пушкинского года, на книжных прилавках Москвы появилась книга А. Б. Пеньковского с необыкновенно интригующим названием – «Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении» [Пеньковский 1999а] (далее – просто «Нина»). Небольшой тираж книги (1000 экземпляров) был раскуплен в течение трех-четырёх месяцев, что нечасто бывает с филологическими изданиями. Таким образом, интерес к книге был очевиден; очевидно было и то, что она вызывала у читателей в высшей степени неоднозначное отношение. Через четыре года в том же издательстве «Индрик» вышло второе издание [Пеньковский 2003], превосходящее по объёму первое более чем на семь авторских листов (на 119 страниц).

Книга А. Б. Пеньковского, состоящая из двух неравных частей (соотносящихся приблизительно в пропорции 1: 4), повествует о двух великих произведениях русской литературы – Лермонтовском «Маскараде» и Пушкинском «Евгении Онегине».² Среди имен, в них встречающихся, есть имя *Нина*. В «Маскараде» *Нина* – имя главного действующего лица. Вес этого имени в «Онегине» иной; во франкоязычном и русскоязычном облике оно встречается в двух местах, и оба раза это беглые упоминания: в пятой главе «Трике (...) смело – вместо belle Nina – / Поставил belle Tatiana» (строфа XXVII), в восьмой главе «(...) Она (Татьяна) сидела у стола / С блестящей Ниной Воронскою, / Сей Клеопатрою Невы; / И верно б согласились вы, / Что Нина мраморной красою / Затмить соседку не могла, / Хоть ослепительна была» (строфа XVI). Концепция А. Б. Пеньковского состоит в том, что за именем *Нина* стоит могущественный женский образ. Прочитав слова автора из заключительного раздела книги (с. 475/583), вынесенные также в качестве текстовой заставки перед титульным листом:

Решение загадки этого имени (...) сделало возможным открытие и реконструкцию сложившегося в русском культурном сознании на рубеже веков и сохранявшего власть над умами до середины XIX века «мифа о Нине». (...) Нина этого мифа – роковая женщина, которая, соединяя в себе рай и ад, небо и землю, ангела и демона, Мадонну и Содом, живет высокими, сжигающими ее страстями. Она богиня любви и служительница в собственном храме, «жертвенник, жертва и палач» одновременно. Неся гибель своим избранникам, эта новая Клеопатра готова погибнуть и сама.

Предупреждая возможное неправильное понимание и рискуя навлечь на себя недовольство некоторых читателей, я хотел бы сразу сказать, что считаю эту книгу значительным и ярким событием в филологической науке. Я думаю, что значение этого труда будет в должной мере оценено очень нескоро, что многие исследователи и люди, профессионально далекие от филологии, но испытывающие понятный интерес к Золотому веку русской литературы, воспримут это мое заявление как сильное преувеличение. Мне довелось столкнуться с резко отрицательным мнением о «Нине»; другие коллеги, находя в ней большие достоинства, в общении со мной отмечали ошибки и эмоциональное давление автора на читателя, захваченность автора собственной концепцией, фантастичность и недостаточную обоснованность некоторых его построений, категоричность ряда утверждений и отсутствие в ряде случаев необходимых показателей предположительной модальности, резкость по отношению к оппонентам, покой-

² Возможно, у читателей, незнакомых с «Ниней», возникнет недоумение: почему два произведения русских поэтов рассматриваются в книге в перевернутом хронологическом порядке? Ответ состоит в том, что ключевой для А. Б. Пеньковского была незаметная реплика незаметного персонажа «Маскарада», назвавшего главную героиню новым именем – Настасья Павловна, о чем см. ниже.

ным и ныне здравствующим. Нередко я вынужден был соглашаться со справедливостью подобного рода упреков (о чем мне еще придется говорить). И все же общая оценка научного сочинения должна акцентировать не частные неудачи (как это нередко делается в нашей критике; см., в частности, постскриптум к настоящей работе), а тот вклад, который оно вносит в науку и культуру. В настоящей работе основное внимание я обращаю не на слабости, а на достоинства «Нины», ибо в случае обсуждаемого труда этот вклад, как я постараюсь показать, весьма значителен.

В чем же он состоит? На мой взгляд, в выявлении семантических глубин языка Золотого века русской литературы. Это главное достижение А. Б. Пеньковского. Он демонстрирует существенные различия в семантике русской лексики Пушкинского и нынешнего времени, после чего становится ясно, сколь часто современный читатель, будучи заморожен прелестью поэтического повествования, впадая в иллюзию его полной понятности, скользит по строкам, «как дамы (...) по лаковым доскам», и не воспринимает те смыслы, которые имел в виду автор и которые были очевидны многим его современникам. Именно с лексико-семантических шуток, богато представленных в книге А. Б. Пеньковского, а не с разбора его концепции «мифа о Нине», мне – филологу-лингвисту – хотелось бы начать разбор этой книги.

Мы легко воспринимаем литературный язык Пушкинской поры. Для современного читателя нет заметных, осознаваемых затруднений при понимании не только выдающейся в отношении внешней прозрачности Пушкинской речи, но и вообще любых художественных или публицистических текстов Пушкинского времени. С некоторым не слишком серьезным преувеличением можно сказать, что мы осознаем сложности такого понимания не больше, чем сложности восприятия старой орфографии: в обоих случаях сохраняется весьма стойкое ощущение близости и понятности как языковой, так и графической системы. «Что-то слышится родное» многим современным читателям в старинном русском слого, и порой мы его непридуманно присваиваем, не видя различий между нынешней поверхностной интерпретацией того или иного отрывка и тем содержанием, которое вложил в свои слова наш далекий предок. А. Б. Пеньковский обстоятельно и глубоко вскрывает семантическую специфику лексики Пушкинской поры. Обратимся к конкретным примерам лексико-семантического анализа слов, семантика или культурный ореол которых в определенных контекстах, как убедительно показывает автор книги, расходится с современным языком. «Нина» изобилует такими примерами.³ Я представлю их в виде сжатых нестрогих описаний – с цитатами из «Нины», примерами или комментариями.⁴

СТРАСТИ. Это слово в ряде употреблений выступает не «как стандартная форма множественного числа к *страсть* «сильное напряженное, но не (обязательно) любовное чувство»» (с. 97/108), а как «специализированное любовное значение слова *страсти*» (с. 98/109), т. е. как *plurale tantum* – обозначение «рокового, не внемлющего голосу разума и преступающего все границы (...) чувства к одному объекту, соединенное с душевными терзаниями, болью сердца (...)» (с. 100/112). «Страстей игру мы знали оба» (I-XLV). «Но чаще занимали страсти / Умы пустынных моих» (2-XVII).

Следующие шесть слов – из концовки XXXVI строфы восьмой главы «Онегина»: «То были тайные преданья / Сердечной, темной старины, / Ни с чем не связанные сны, / Угрозы, толки, предсказанья, / Иль длинной сказки вздор живой, / Иль письма девы молодой».⁵ Анализируя приводимые ниже абрисы словарных статей, читатель, можно надеяться, убедится,

³ Указателя анализируемых слов и выражений в книге, к сожалению, нет, что очень затрудняет работу с нею.

⁴ Ссылки на фрагменты «Евгения Онегина» даются сокращенно в виде выражений а-б, даваемых курсивом, где арабская цифра а обозначает номер главы, а римская цифра b – номер строфы.

⁵ В Большом академическом и последующих изданиях мы видим в этой строке форму «письмы», взятую из рукописи Пушкина, но расходящуюся со всеми тремя прижизненными изданиями «Онегина». В «Нине» это неправомерное, на мой взгляд, текстологическое решение отражается в случаях соответствующей цитаты.

насколько превратно может быть проинтерпретирован этот отрывок современным языковым сознанием (что нередко наблюдалось в литературе).

ПРЕДАНИЕ: в данном контексте «воспоминание» (с. 110/123, 416/481—482), а отнюдь не «устный рассказ, история...». «Приди; огнем волшебного рассказа / Сердечные преданья оживи» («19 октября», 1825). «Прилежно в памяти храня / Измен печальные преданья, / Ты без участия и вниманья / Уныло слушаешь меня» («Когда в объятия мои...», 1830).

ТЕМНЫЙ: «скрытый, тайный» – а не только «тяжелый, тяжкий, мрачный» (с. 110/ 122–123).

СТАРИНА: «прошедшее для кого-нибудь время, былое» (с. 109) [СЯП, т. IV: 346] – а не «старинные обычаи, нравы, привычки» (с. 108–109/121—122).⁶

СОН: «создание воображения» [СЯП, т. IV: 283], «поток бессодержательных, бессвязных, текучих мыслеобразов, беспорядочно сменяющих друг друга и чередующихся с живыми картинками, которые встают перед внутренним взором Онегина» (с. 111/124). Ясно, что Пушкин здесь имеет в виду не сон в его основном значении («физиологическое состояние покоя и отдыха...»), а нечто другое. В Пушкинскую эпоху слово сон начинает употребляться как франц. *rêve* «сновидение; мечта, греза» и приобретает его двусмысленность (указание И. А. Пильщикова); приведенное несколько вольное истолкование А. Б. Пеньковского можно рассматривать как развертывание его второго смысла («мечта, греза»).

СКАЗКА, а также **ПОВЕСТЬ:** «поток жизненных событий, хранящийся в чьей-либо памяти» – а не какие-либо другие значения этих слов (с. 112–114/125—127); в примечании 32/44 (с. 416–417/482—483) приводятся цитаты из Вяземского, К. Павловой, Пушкина, Лермонтова, убедительно иллюстрирующие такое словоупотребление, а также упоминаются употребление слова *роман* с тем же регулярным переносом и образ «книги жизни», восходящий к «Апокалипсису»; даются цитаты из Лермонтова и А. Григорьева с близкими образами — *страницы прошлого, свиток прошлого* и др.

ДЕВА: "молодая прекрасная женщина (в том числе замужняя)" (с. 136/151 и сл., 424/494). Эту, посвященный слову *дева*, носит проблемный характер, и здесь мне не избежать обширного цитирования (с. 138/153):

(...) семантическая структура слова *дева*, как и у других таксономических терминов, обслуживающих поло-возрастную сферу (*девочка, девушка, мальчик, юноша, отрок, женщина, мужчина...*), представляет собой комплекс или пучок семантических признаков-компонентов, каждый из которых – один или в той или иной связке – может при определенных условиях, выдвигаясь на передний план, подавлять и погружать в тень все или некоторые другие. Так, в слове *женщина* в зависимости от контекста может актуализироваться только «пол», заслоняющий все остальные возможные признаки, включая и возраст, (...) или «пол + возраст» {*женщины и дети*}, или, например, «пол + обусловленные им (...)» те или иные типичные сущностные признаки „женскости“. Так, отвечая Вяземскому на его сомнения по поводу письма Татьяны, Пушкин писал: «... если, впрочем, смысл и не вполне точен, то тем более истины в письме; письмо *женщины*, к

⁶ Не могу не отметить здесь проведенного в одном из устных выступлений А. Б. Пеньковского блистательного анализа начала разговора Татьяны с няней в XVII строфе третьей главы. «Поговорим о старине», – просит Татьяна, «старушка в длинной телогрейке» понимает эту *старину* в народно-фольклорном смысле, и Татьяне приходится в конце строфы разъяснять: «Расскажи мне, няня, / Про ваши старые года: / Была ты влюблена тогда?» (А дальше выясняется, что слова *влюблена* и *любовь* Татьяна и няня понимают тоже по-разному: для Татьяны любовь – это «романтическое чувство девушки к ее избраннику», а для няни – «запретное чувство молодой женщины к другому мужчине» [Лотман 1980: 218]; поэтому няня и говорит, что за такую любовь свекровь «согнала» бы её «со света». Ю. М. Лотман характеризует этот диалог как «ситуацию социального и языкового конфликта», которую Пушкин «остро ощущал» [Там же].)

тому же 17-летней, к тому же влюбленной!» (...)/ Таким же образом в слове *дева* в пушкинскую эпоху на передний план либо выдвигались компоненты «пол» + «девственность» (...), либо, как это характерно для поэтического языка, все компоненты его значения, кроме «пола» и «возраста», отгеснялись на периферию, причем «женскость» была претворена в «женственность», а поэтические коннотации введены *in media res* семантической структуры и предстают нашему сознанию как «красота», «прекрасное», «прелесть», «очарование».

Эта цитата возвращает нас к плодотворным понятиям Ю. Н. Тынянова – лексическому единству и колеблющимся семантическим признакам слова [Тынянов 1965: 78 сл., 87 сл., 114 сл.], – основательно забытым современной отечественной лексической семантикой, преимущественно занимающейся жестким членением слова-вокабулы на отдельные значения-лексемы и мало заботящейся об отражении их единства в рамках целого. В соответствии с семантической концепцией Тынянова слово предстает не только как совокупность отдельных лексических значений, но и как набор семантических признаков, из которых одни необходимы, актуализируются при любом употреблении слова, а другие могут выступать на передний план или, наоборот, подавляться. Так, если взять обсуждаемое слово *дева*, для него – в духе анализа А. Б. Пеньковского – можно выделить следующие признаки: «женский пол», «молодой возраст (условно – от 15 до 25 лет)», «незамужняя», «девственность», «красота». Первый признак необходим, а остальные четыре могут – в зависимости от языкового или ситуационного контекста употребления слова – актуализироваться или отсутствовать. Удивительным образом даже такой, казалось бы, неоспоримый признак, как «молодой возраст», может вытесняться контекстом; приведу пример такого вытеснения.

«Старец-колдун» в конце первой песни «Руслана и Людмилы», рассказывая Руслану о своей последней встрече с Наиной – «старушкой дряхлой» и «седой», – называет ее *девой*:

(...) «Скажи, давно ль, оставя свет, / Расстался я с душой и с
милой? / Давно ли?...» – «Ровно сорок лет, – / Был девы роковой ответ: – /
Сегодня семьдесят мне било (...)».⁷

А вскоре это наименование повторяет и сама колдунья, крича вослед убегающему финну: «О, недостойный! / Ты возмутил мой век спокойный, / Невинной девы ясны дни!» Тем самым, становится ясно, что, с одной стороны, здесь вытеснен признак «молодой возраст», а с другой – удержан признак «девственность» (в конце своей гневной тирады Наина усиливает упреки, называя беглеца «изменником», «извергом» и «девичьим вором»).

Таким образом, речь идет не о стандартном представлении слова в виде совокупности лексических значений, с возможной их иерархизацией, а о выделении в слове обязательных и факультативных компонентов. В некотором смысле существует единое слово *дева*, а различия между его частными употреблениями, имеющими разное содержание, описываются не в виде разных словарных значений, как это практикуется в обычных словарях и в большинстве семантических исследований, а посредством указания разных наборов актуализируемых семантических компонентов.

Я отдаю себе отчет в том, что в данном случае, возможно, выхожу за рамки реальных теоретических установок автора обсуждаемой книги, однако предлагаемые им примеры анализа лексических значений находятся в русле именно такого – инвариантного – подхода к описанию лексической семантики, за которым, как мне представляется, будущее.⁸

⁷ Обращу внимание на интересный случай морфолого-синтаксической неоднозначности: словоформа *роковой* допускает здесь двоякое грамматическое осмысление: либо род. падеж женского рода — *роковая дева*, либо им. падеж мужского рода — *роковой ответ* (о типах неоднозначности см. [Перцов 2000а: 56]).

⁸ Подробнее об инвариантном подходе к описанию лексических значений см. [Перцов 2001: 35 сл.]. Отмечу, что приве-

Что касается употребления слова *предсказанье* в данной строфе («Угрозы, толки, предсказанья...»), А. Б. Пеньковский усматривает в нем реализацию особого значения, «колеблющегося между „предположением“ и „угрозой“», которое иллюстрируется только одной цитатой, а этого все-таки мало. Вот соответствующая цитата из Вяземского (с. 418/484, примеч. 36/51 к с. 119/132; курсив автора «Нины...»): «Разумеется, Москва, *не пропустила этого* (интереса императора Александра к княжне Наталии Оболенской. – 77. 77.) *мимо глаз и толков своих*. Однажды домашние говорили о том при княгине-матери и *шутя делали разные предположения*. «Прежде этого задушу я ее своими руками», – сказала римская матрона, которая о Риме никакого понятия не имела. Нечего и говорить, что царское волокитство и все *шуточные предсказания* никакого следа по себе не оставили». В этой цитате *предсказание* можно понять и в обычном проспективном значении (~ «предвидение») – как квазисиноним ранее употребленного слова *предположение*. Поэтому мне пришлось не без сожаления отказаться от включения слова *предсказанье* в перечень лексических расхождений между современным языком и языком Пушкинского времени.

Два следующих слова относятся к одной из ключевых для концепции А. Б. Пеньковского строф – к VII строфе четвертой главы романа в стихах, с ее загадочными и по-настоящему до Пеньковского не прокомментированными строками: «(...) Уничтожить предрассужденья, / Которых не было и нет / У девочки в тринадцать лет! / Кого не утомят угрозы, / Моленья, клятвы, мнимый страх, / Записки на шести листах, / Обманы, сплетни, кольца, слезы, / Надзоры теток, матерей / И дружба тяжкая мужей».

КОЛЬЦА: «символически значимые, инициативные или ответные (...), акты дарения / получения в дар и отдаривания кольца (...)» (с. 132/147); здесь существенно не предметное, а «акционально-процессуальное» осмысление данного слова в данном контексте.

ТЕТКИ: «не только лица из прямого родства и свойства, но и просто причастные к жизни той или иной семьи» (с. 128/142). Это осмысление обильно иллюстрируется (с. 128–129/141–143) цитатами из писем Пушкина, А. Я. Булгакова, из воспоминаний М. Каменской, из повести М. С. Жуковой, из Н. Ф. Павлова, из «Княгини Литовской» Лермонтова, из «Записок» И. И. Гладилова.

Важное лексико-семантическое достижение книги – выявление «микропласта» русской лексики Пушкинского времени, объединенного смыслом «тоска»; в этот пласт, кроме «непосредственных» слов *тоска* и его производных и слова *хандра*, входят *скука*, *зевота*, *зевать*, *лень*, *желчь*. А. Б. Пеньковский, как мне представляется, серьезно поколебал (для меня – попросту развеял) научный миф о скучающем бездельнике, порочном и циничном демоне Онегине;⁹ он выявил, что именно мотив *тоски*, а отнюдь не *скуки* в современном понимании этого слова, является доминантой психологического облика главного героя.¹⁰ Данному мотиву

денное рассуждение автора «Нины» о слове *дева* согласуется с основной идеей так называемой «прототипной теории значения», как она изложена в [Кобозева 2000: 160]: «Не пытаться определить значение слова в виде конечного списка признаков – критериев, которым должны удовлетворять все без исключения объекты, обозначаемые данным словом (в данном типе контекстов), а описать значение слова как прототипический каркас, т. е. набор свойств прототипического денотата, допуская при этом, что слово можно применять и к другим денотатам, разделяющим с прототипом не все, а лишь часть свойств».

⁹ Однако я не соглашусь с неоднократно повторяемыми резкими утверждениями автора о «превратном понимании романа в целом и его тоскующего героя» всей предшествующей пушкинистикой (с. 221/247–248), об «установившейся за полтора века, общепринятой и не вызывающей ни у кого сомнений уничтожающей характеристике» Онегина (с. 228/256): отнюдь не все критики и исследователи столь негативно оценивали главного героя и не все его хулили (достаточно вспомнить Белинского).

¹⁰ «Онегин, каким его создал Пушкин, – не герой всеобъемлющей Скуки, а герой всепоглощающей Тоски, которая в соответствии с двойственной языковой нормой этого времени могла быть (...) названа и сниженным словом *скука*» (с. 187–188/211–212; разрядка А. Б. Пеньковского).

и его лексико-семантическому освещению посвящена пространная вторая глава Части второй (около 80 страниц).

СКУКА. Значение «тоска», свойственное в Пушкинское время этому слову и однокоренным, рассматривается и обильно иллюстрируется в книге на нескольких десятках страниц. Испытывая в данном случае своего рода *embarras de richesses* (затруднение от избытка) и колеблясь в выборе цитаты, я поэтому предпочитаю просто отослать читателя к тексту «Нины». Дается тонкий сопоставительный семантический анализ сходств и различий в семантике *скуки*, *тоски* и *хандры*, причем речь идет не о четких разграничениях между разными словами, а о тенденциях (с. 187–199/211—224).

Не могу удержаться от дополнения богатейшего иллюстративного материала по «скуке-тоске» еще одной цитатой – начальной строфой Пушкинского поэтического ответа митрополиту Филарету – со *схх" кой*, выдвинутой в сильную позицию рифмы: «В часы забав или праздной скуки, / Бывало, лире я моей / Вверял изнеженные звуки / Безумства, лени и страстей». Далее в третьей строфе строка «Я лил потоки слез нежданных» говорит отнюдь не о скуке (в современном понимании), а, разумеется, о чем-то гораздо более тяжком и томительном. Но главное свидетельство того, что здесь подразумевается именно тоска, – это повод написания стихотворения; напомним, что его вызвал стихотворный отклик митрополита на одно из самых пессимистичных Пушкинских стихотворений «Дар напрасный, дар случайный...», в конце которого появляется *тоска*: «И томит меня тоскою / Однозвучный жизни шум».

ЗЕВОТА. «(...) слово *зевота* в пушкинскую эпоху представляет собой комплекс семантических вариантов, связанных цепочкой контекстуально выявляемых метонимических сдвигов и метафорических переносов: «зевота» – «зевота, вызываемая скукой» – «скука, сопровождаемая зевотой» – «скука» – «скука / тоска» – «тоска»» (с. 224/250—251). Здесь тоже, как и в случае *скуки*, подтверждающих комментариев и цитат – множество; из них особенно впечатляет анализ фрагмента из 4-й песни «Руслана и Людмилы»: «(...) Скрываясь по ночам, она! *Минутного искала сна – / Но только проливала слезы, / Звала супруга и покой, / Томилась грустью и зевотой (...)*» (курсив, разумеется, Пеньковского), а через несколько строк тоска названа прямо: «С своей обычною тоскою / До новой ночи, здесь и там, / Она бродила по садам (...)». Замечу, что употребление слова *зевота* в процитированном фрагменте из «Руслана и Людмилы» можно трактовать как совмещение в одной словоформе двух значений – отмеченного автором «Нины» эмоционального («тоска») и привычного нам «физиологического»: ведь сказано же сразу после этого употребления – «И редко, редко пред зарей, / Склонясь ко древу головой, / Дремала тонкою дремотой». Ясно, что Людмила очень мало спала в садах Черномора, а в этом случае зевота (в обычном значении) – совершенно нормальное явление.

ЗЕВАТЬ. Это слово обнаруживает аналогичную цепочку вариантов значений, как и *зевота*. Значение «тосковать» у глагола *зевать* иллюстрируется – на с. 226/253 и далее – цитатой из Вяземского, играющего всеми значениями этого слова, а также фрагментом пушкинской «Сцены из Фауста» («И всяк зевает и живет – / И всех вас гроб, зевая, ждет. / Зевай и ты»), словоупотреблениями в «Онегине» («Безмолвно буду я зевать / По былом вспоминать» – 1-ХІХ", «За ним и Оленька зевала, / Глазами Ленского искала» — 6-Т, «Онегин дома заперся, / Зевая, за перо взялся, / Хотел писать, но труд упорный / Ему был тошен; ничего / Не вышло из пера его» — 1-ХLІІІ, «Прочтя печальное посланье, / Онегин тотчас на свиданье / Стремглав по почте поскакал / И уж заранее зевал, / Приготовляясь, денег ради, / На вздохи, скуку и обман» — 1-ЛІІ).

Замечание. Хотя после прочтения «Нины» мое отношение к Онегину (и ранее неплохое) стало существенно лучше, я не могу согласиться с некоторыми преувеличениями А. Б. Пеньковского. Так, в случае попыток приобщения Онегина к ремеслу писателя я не усматриваю в них того «усердия» и «упорства», которое видит автор «Нины» (с. 156/175). Верно, что краткое прилагательное *тошен* следует понимать не как «противный», а как «тоскливо отчуждаемый» (с. 155/174), что Онегина нельзя назвать полностью чуждым поэзии (см. ниже описание слов *тошный* и *антипоэтический*). Однако «усердие» и «упорство» Онегина в попытках овладеть знанием стихотворной техники автор «Нины» связывает в основном со строками «Не мог он ямба от хорея, / Как мы ни бились, отличить» (1-VII), причем уверенно относит это *мы* к повествователю и герою – в «дуально-кооперативном» значении. А это не может быть решающим аргументом: *мы* здесь может быть отнесено и к повествователю вместе с другими онегинскими знакомцами (например, с Каверинным). До VII строфы первой главы местоимения *мы* и *наши* появляются только в двух предшествующих строфах («Мы все учились понемногу / Чему-нибудь и как-нибудь; / Так воспитаньем, слава Богу, / У нас немудрено блеснуть» — 1-1", «Но дней минувших анекдоты, / От Ромула до наших дней / Хранил он в памяти своей» — 1-17), и оба раза это не дуально-кооперативные *МЫ* и *НАШ*. Безусловное дуально-кооперативное *мы* – в осмыслении «повествователь и Онегин» – во всем романе появляется только в строфах XLV, XLVII и LI первой главы, повествующих о знакомстве повествователя с героем, их прогулках в белые ночи и их разлуке «на долгий срок», т. е. о времени, значительно более позднем, нежели пора первого светского опыта Онегина, к которой относится VII строфа. Поэтические занятия повествователя с Онегиным происходили позже попыток последнего овладеть писательским ремеслом, о которых говорится в XLIII строфе, а ведь после нее сразу следует: «И снова, преданный безделью...» Не вижу оснований усматривать здесь какое-то особое старание, рвение или настойчивость со стороны героя: таким он бывал только в любовных делах.

ЛЕНЬ: «поэтический псевдоним скуки как части и следствия, представляющих целое и причину – тоску» (с. 211/237), «состояние вялости, апатии и безразличия ко всему, что вне, но не от самодовольного и глухого эгоизма, (...) а от полной поглощенности внутренней болью души и вызванного этим тоскливого отчуждения от мира» (с. 212/237—238). Иллюстрации: «Я таю, жертва злой отравы: / Покой бежит меня; нет власти над собой, / И тягостная лень душою овладела» («Война», 1821). «Теперь я должен перед вами зело извиняться за долгое молчание, – Непонятная, неотразимая, неизъяснимая лень мною овладела, это еще лучшее оправдание» (из письма к М. П. Погодину от 17 декабря 1827; разрядка А. Б. Пеньковского). «(...) Что было для него измлада / И труд, и мука, и отрада, / Что занимало целый день / Его тоскующую лень, – / Была наука страсти нежной (...)» (1-VIII). «И вот: по родственным обедам / Развозят Таню каждый день / Представить бабушкам и дедам / Ее рассеянную лень» (7-XLIV).

ТОШНЫЙ: «наводящий, вызывающий тоску»; в краткой форме *тошен* – «тоскливо отчуждаемый» (с. 178/201). «Я в самом тошном расположении духа по отъезде жены и смерти Байрона. Без нее пусто мне в домашнем мире, а без него в литературном. После смерти Наполеона никакая смерть так глубоко в душу мою не врезывалась, как его (...)» (из письма Вяземского к Д. В. Дашкову от 2 ноября 1824 г.). «(...) Хотел писать, но труд упорный / Ему был тошен (...)» (1-XLIII).

ЖЕЛЧЬ. «(...) Слово *желчь* связывалось в сознании Пушкина и его современников не столько со злостью, сколько (и, вероятно, прежде всего) с тоской и вызываемым ею тоскливым раздражением» (с. 320/363). Одной из показательных для такого осмысления служит известная цитата из письма Пушкину к А. И. Тургеневу от 1 декабря 1823 г.: «(...) я на досуге пишу новую поэму, „Евгений Онегин“, где захлебываюсь желчью». Другие иллюстрации – из Ф. В. Растопчина, Д. Н. Блудова, А. Я. Булгакова, В. Ф. Одоевского, Лермонтова, из отзыва критика «Библиотеки для чтения» о стихотворении Пушкина «Когда за городом, задумчив, я брожу...». Указывается также слово *черножелчие* (с его вариантом *черножелчность*), которое использовалось в ту пору, – калька греческой меланхолии «черная желчь» (с. 320–323/363–367).

МЕЧТЫ: «размышления» (с. 182/206). «(...) Мечтам невольная преданность, / Неподражательная странность / И резкий, охлажденный ум» (I-XLV). Сюда можно присоединить строку «Я предаюсь моим мечтам» из стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных...».

АНТИПОЭТИЧЕСКИЙ: «не годящийся в герои поэтического произведения», а не «враждебный духу поэзии» (с. 184/208). «Станут осуждать и антипоэтический характер главного лица, сбивающегося на Кавказского пленника (...)» (из предисловия Пушкина к первому изданию первой главы романа). «Именно в этом значении употребляли слова *антипоэтический*, *антипоэтичность* и авторы пушкинского круга. Так, П. А. Вяземский, говоря о политической поэзии во Франции, возражает против определения политики как предмета «антипоэтического» и объясняет, что «можно высекать искры поэтического огня из вещества не поэтического» (...)» (с. 184/208).

КВАКЕР. «В пушкинском кругу и в пушкинскую эпоху *квакер* – иронически–шутливая характеристика англоманов и прежде всего тех, кто подчеркивал свои англофильские пристрастия в одежде и вообще во внешнем облике, что вообще воспринималось как чудачество. Таков был, например, знакомец Пушкина, высоко ценимый им П. И. Полетика, «*милый чудак*», как называл его Жуковский (...): «*Полетика сумасшествует и все тот же квакер*» (...)» (с. 208/233). Здесь же автор «Нины» дает еще цитаты из Вяземского и Вигеля, иллюстрирующие применение слова *квакер* – именно в таком смысле – к их русским знакомым, отнюдь не членам религиозной христианской общины.

ДЛЯ. В стихах «И я лишен того: для вас / Тащусь повсюду наудачу» (из письма Онегина в восьмой главе) «оборот «для вас» имеет (...) не объектно-целевое, так называемое «бенефактивное» («в ваших интересах») значение (...), а значение рефлексивно-целевое: «чтобы вас увидеть / встретить», которое в современном языке сохраняется лишь в конструкциях с неличными именами (ср. *для удовольствия*, *для радости*, *для выздоровления* и т. п.) (...)» (с. 220/246). Следует сказать, что в данном случае семантика предложно-падежного сочетания *для вас*, возможно, носит более сложный характер: это некое соединение рефлексивной цели и причины – «семантический синкретизм» [Кравченко 1999], см. следующую цитату [Там же: 51]: «Выбор отрицательно окрашенного глагола указывает на нежелательность действия. Форма ДЛЯ ВАС явно употреблена для обозначения причины. (...) Ср. также у Лермонтова: „...Я для тебя потеряла все на свете“, „Но Вас наградит та, для которой Вы рискуете жизнью“ („Герой нашего времени“). Во всех приведенных случаях на месте предлога ДЛЯ в современной речи употребляется предлог ИЗ-ЗА». Я полагаю, что осмысления А. Б. Пеньковского и Н. П. Кравченко в данном случае не альтернативны: диффузные рефлексивно-целевое и причинное осмысление сочетания *для вас* вполне могли совмещаться в одном употреблении (ср. многозначность французского *pour* «для, ради; из-за», имеющего как целевое, так и причинное значение).

БЕЛОУСЫЙ. В цитате из Пушкинского «Монаха» – «Монах на все взирал смятенным оком. (...) / И вдруг, в душе почувствовав кураж / И набекрень, взъярясь, клубок надвинув, / В зеленый лес, как белоусый паж, / Как легкий конь, за девкою погнался» — *белоусый* имеет

не прямое значение «с белыми усами», а означает «с юношеским белым пухом над губой» (с. 456/548).

Следует сказать, что лексико-семантический анализ Пеньковского вовсе не отменяет известных нам значений русских слов: слова *страсть*, *преданье*, *сказка*, *тетка*, *скука*, *зевота*, *лень*, *мечта* и другие – из числа рассмотренных выше – имели в Пушкинское время и те значения, в которых понимаем и употребляем их мы.¹¹ У Пеньковского речь идет только о том, что в определенных контекстах многие привычные слова выступали в значениях, не характерных для современного состояния нашего языка. А это означает, что рядовой читатель может понять соответствующие контексты превратно. Как можно было убедиться по приведенным выше описаниям лексических значений, автор «Нины» подтверждает это многочисленными примерами из художественных текстов, публицистики, писем, дневников Пушкинского времени; иногда обилие таких примеров читателя подавляет, причем в некоторых случаях контекст не позволяет точно установить значение соответствующего слова.

Разборы Пеньковского выявляют феномен многопланности Пушкинского слова, «без учета которой адекватное понимание Пушкинских текстов оказывается невозможным» (с. 221/247). Об этом автор говорит в примечании 72/103: «Расплывчатость, текучесть, зыбкость, широта и неопределенность значений слова (...) – яркая, унаследованная от предшествующего состояния русского литературного языка, изживаемая, но не изжитая особенность семантики слова в языке Пушкина и всей пушкинской эпохи» (с. 429/506).

В ряде случаев мы видим совмещение в Пушкинском тексте разных значений одного и того же слова. Останавливает внимание предположение (с. 343/388) об одновременном совмещении двух значений слова *прелесть* («обаяние, очарование» и «бесовский соблазн») в строках «Что ж? Тайну прелесть находила /Ив самом ужасе она» (5-?II). Еще один яркий пример – концовка VIII строфы восьмой главы «Онегина»: «(...) Иль просто будет добрый малой, / Как вы да я, как целый свет? / По крайней мере мой совет: / Отстать от моды обветшалой. / Довольно он морочил свет... / – Знаком он вам? – И да и нет». Предоставлю слово автору «Нины»:

(...) для Пушкина и для многих его современников выражение «*добрый малой*», помимо своего прямого – положительно-оценочного – значения (...) имело еще и другое, сложившееся на базе иронически-пренебрежительного употребления в театральной и критико-публицистической сфере (...), – отрицательно-оценочное значение. (...) Таким образом, фраза «*Иль просто будет добрый малой...*» была задумана как двупланная (...) и на восприятие ее и осознание ее как двупланной рассчитывала. А чтобы дать дополнительный стимул читателю и подтолкнуть его к правильному пониманию, в соседних строках той же строфы – в качестве ключа – была организована рифма свети «мир» – свети, «светское общество» (...), играющая разными значениями одного слова (с. 210/235—236).

Следующий пример – наблюдение об одновременной соотнесенности анафорического местоимения с двумя антецедентами в строках «Она его не будет видеть; / Она должна в нем ненавидеть / Убийцу брата своего» — 7-XIV (с. 315–316/356—357): Ленский мыслится и как брат Татьяне («по сестре, мужем которой он должен был стать»), и как брат Онегину («чьим братом – „другом“ он был или должен был быть»)¹²

¹¹ Ср., например: «(...) в тексте романа есть случаи использования слова *скука* в его специализированных семантических вариантах, значение которых совпадает с современным их значением: "о *скуке жизни холостог*Г (о скуке одиночества в отсутствие забот, обязанностей и «семейных радостей» по отношению к сватаемому за Дуню Ленскому и с позиции сватающих – 2, XII); "*жадной скуки сыновья*" (о карточных играх – 5, XXXV); "*дорожная скука*" (о скуке «бездействия» – 7, XXXV)» (с. 217/243—244). Далее говорится о «зависании» значения этого слова «в пространстве между двумя семантическими полюсами» и о промежуточных случаях: «Там *скука*, там обман и бред» (I-XLIV); «Да *скука*, вот беда, мой друг» (3-II).

¹² Это пронизательное наблюдение до автора «Нины» было сделано также Т. М. Николаевой [1996: 666].

Подобного рода наблюдения над «двупланностью» поэтического текста очень важны: они выявляют одну из главных особенностей поэтической речи – ее принципиальную открытость для новых интерпретаций. Пушкинский текст – при полной внешней понятности и прозрачности – скрывает в глубине смысловую многослойность. Автору «Нины» во многих случаях эту многослойность удается выявлять.

Однако иногда А. Б. Пеньковский неоправданно категоричен. Верные и тонкие наблюдения могут соседствовать с излишне жесткой интерпретацией того или иного контекста. Так, можно согласиться с его отнесением местоимения *мы* к автору и его Музе в строках наречения главной героини в XXIV строфе второй главы: «Ее сестра звалась Татьяна... / Впервые именем таким / Страницы нежные романа / Мы своевольно освятим» (с. 82–84/92–94).¹³ Ту же референтную отнесенность во втором издании [Пеньковский 2003: 464–467] автор – вслед за Ю. И. Айхенвальдом (и вместе с Н. А. Еськовой [1999: 28]) – усматривает в неполной II строфе восьмой главы: «И свет ее <Музу> с улыбкой встретил; / Успех нас первый окрылил; / Старик Державин нас заметил / И, в гроб сходя, благословил»; при этом он энергично и детально полемизирует с фрагментом моей работы [Перцов 2000б: 80], где отстаивается возможность более широкой референтной области для местоимения в данном случае, включающей, помимо поэта и его Музы, еще и друзей-лицеистов. Должен сказать, что полемическая аргументация А. Б. Пеньковского меня не убедила, и со своей стороны я скажу новые слова в пояснение моего восприятия обсуждаемого Пушкинского катрена.

В самом деле, лицеисты (а не только Муза) тоже присутствуют в предтексте этого катрена (правда, неявно): их «наводит» и упоминание Лицея в первой строке I строфы, и словоформы *детские* и *нашей*: «Муза (...) воспела детские веселья и славу нашей старины»; притяжательное местоимение относится здесь ко всем россиянам, а значит и к лицеистам; а *слава нашей старины* была воспета Пушкинской Музой впервые в стихотворении «Воспоминания в Царском Селе» 1814 г., прочтенном на экзамене 8 января 1815 г – в присутствии «света», «с улыбкой её встретившего», и Державина. (До этого очень немногие из «света» знали поэтов-лицеистов; Пушкин печатал свои стихи без подписи.) В отброшенных начальных строфах лицеисты упоминаются явно: «Когда в забвеньи перед классом / Порой терял я взор и слух (...)»; «(...) молодые друзья / В освобожденные досуги / Любили слушать голос мой. / Они, пристрастною душой / Ревнуя к братскому союзу, / Мне первый поднесли венец, / Чтоб им украсил их певец / Свою застенчивую Музу». Разве не мог поэтический триумф юного Пушкина на экзамене «окрылить» не только его вместе с Музой, но и друзей-лицеистов?

В «лицейском» стихотворении «19 октября» (1825) Пушкин братски уравнивает свою Музу и муз других поэтов-лицеистов: «Друзья мои, прекрасен наш союз! (...) Срастался он под сенью дружных муз»; «С младенчества две музы к нам летали, / И сладок был их лаской наш удел» (о себе и Дельвиге); «Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было, / Мой брат родной по Музе, по судьбам?» (обращение к Кюхельбекеру); «Благослови, ликующая Муза, / Благослови: да здравствует Лицей!». Болдинской осенью 1830 г., через

¹³ Развивая эту мысль, можно видеть Музу и в некоторых других случаях местоимений *Мы* / *НАШ*, например во всех упоминаниях *нашего романа* (роман может соотноситься с автором, его Музой и читателем) или, скажем, в строках «Теперь мы в сад перелетим, / Где встретила Татьяна с ним» (4-ХI).

несколько недель после завершения «Онегина», в незавершенном послании к Дельвигу («Мы рождены, мой брат названный...») Пушкин повторяет те же мотивы, что в начале восьмой главы: «Явились мы рано оба / На ипподром, а не на торг, / Вблизи Державинского гроба, / И шумный встретил нас восторг»; местоимение *нас* здесь относится к двум лицеистам – Пушкину и Дельвигу, последние же две строки контаминируют приведенный катрен неполной строфы восьмой главы. Через год, обращаясь в другом лицейском стихотворении к «покойнику Дельвигу», Пушкин называет его «товарищем песен молодых».

Завершает полемику со мной А. Б. Пеньковский [2005: 467] весьма энергичным и категорическим образом: «Местоимение «нас» (...) может и должно читаться поэтому одним-единственным образом: «Музу и меня» (не «меня и Музу!»). Я же оставляю за собой право воспринимать референтную область этого местоимения расширительно: «...и еще, возможно, кого-то из друзей-лицеистов». В общем контексте первых двух строф восьмой главы я не вижу жестких запретов на широкую интерпретацию местоимения *нас* второй строфы – «автор + Муза + лицеисты (или лицейские поэты: Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский)»; не вижу в данном случае оснований для столь жесткого референтного ригоризма. Увы, никто не догадался спросить Пушкина о том, кого он подразумевал под местоимением 1-го лица множественного числа в начале восьмой главы «Онегина», а если и спросил – не оставил нам его ответа...

Как бы то ни было, хочется надеяться, что приведенные выше осмысления привычных слов дают ясное представление о том, насколько их современное инерционное понимание в соответствующих контекстах расходится с реальным содержанием, которое подразумевал поэт.

Теперь обратимся к основной концепции автора книги. Она состоит в следующем. В Пушкинское время существовал литературный образ роковой женщины-вамп, который автор называет «мифом».¹⁴ Этот образ наиболее рельефно подан в поэме Баратынского «Бал» (1828); он отражен в подтексте двух великих произведений той эпохи – «Евгении Онегине» Пушкина и «Маскараде» Лермонтова. Основное имя носительницы этого образа — *Нина*. И в героине «Маскарада», и в Пушкинской Татьяне, по мысли А. Б. Пеньковского, скрыты некоторые черты «мифологической» Нины.¹⁵

В «Маскараде» ключевым местом для концепции А. Б. Пеньковского является единственная реплика одного из лиц пьесы, не включенных в список персонажей, – Петкова:¹⁶

¹⁴ Вполне законен вопрос: насколько правомерно интерпретировать подобного рода образ как миф? Я вижу основания для возражений против такой квалификации ключевого женского образа в «Нине» и для скепсиса в отношении новейших культурологических тенденций к мифологизированию (даже для самих претензий к названию обсуждаемой книги). В рецензии [Булкина 2000: 385] (о которой см. ниже в постскриптуме) считается более уместным в данном случае «говорить о семантическом ореоле „светского“ имени, так или иначе связанного с поэмой Баратынского». Однако следует все же учитывать то обстоятельство, что слово *миф* в культурологической литературе приобрело в последние десятилетия весьма широкое значение – не только значение «сказка» / «вымысел» / «фантазия» / «иллюзия», но и другие: «событие сакральное, значительное и служащее примером для подражания», «священная традиция, первородное откровение, пример для подражания» [Элиаде 2000: 7]. Мне, пожалуй, не импонирует подобное «размывание» понятия, но с ним нельзя не считаться. Автор «Нины» был вправе следовать указанной концептуальной тенденции.

¹⁵ В отношении Татьяны эти мысли автора книги перекликаются с мнением американской исследовательницы К. Эмерсон [1996], назвавшей Татьяну «беспощадным коршуном».

¹⁶ Так фамилия этого персонажа воспроизведена в авторитетном академическом издании [Лермонтов 1956: 369] – в противоречие многим другим печатным воспроизведениям «Маскарада», дающим более привычную для русского уха фамилию *Петров*, которая действительно фигурировала в ранней редакции пьесы, причем в двух местах – [Там же: 504, 511]; во втором случае данное академическое издание дает специальную сноску: «В основном тексте Петков». На издание [Лермонтов 1956] А. Б. Пеньковский ссылается; тем более странно, что его внимание не привлек данный текстологический казус; в противном случае он не стал бы столь решительно настаивать (с. 54/63) на особой значимости выбора простой русской фамилии – «одной

«Настасья Павловна споет нам что-нибудь!» (д. III, сцена I, выход 3); эту просьбу, обращенную к Нине Арбениной, подхватывает одна из дам: «Ах, в самом деле, спой же, Нина, спой» (в другой редакции пьесы – пятиактном «Арбенине» – главная героиня также один раз именуется по-другому – в реплике Казарина: «Когда Арбенин был в деревне, / Вы ездили к Настасье Алексевне / По вечерам и по утрам» [Лермонтов 1956: 544]). Суть объяснения двуименности Арбениной, предложенного А. Б. Пеньковским, сводится к следующему. Эти два имени — *Настасья* и *Нина* – составляют контрастную пару: первое, сниженное, простонародное, провинциальное, было дано героине при крещении; второе, высокое, романтическое, светское, было навязано ей Арбениным после замужества (с. 29/35—36, 53/62, 74/84). Это объяснение мотивируется обширным интереснейшим материалом по двуименности в России XVIII–XIX веков. Автору этих строк неизвестны другие опыты столь подробного объяснения двуименности главной героини пьесы Лермонтова. По мысли А. Б. Пеньковского, гибель Арбениной предопределило навязанное ей имя героини культурного мифа, она – «пассивная жертва» этого мифа (с. 72/82). Автор «Нины» решительно отвергает другую версию двуименности Арбениной: «(...) Нина, очевидно, не настоящее имя героини, а уменьшительное, принятое в интимном общении» [Лермонтов 1956: 749].¹⁷

Объяснение автора «Нины» мне представляется более плодотворным и интересным, чем только что процитированная трактовка, но все же я не могу принять характеристику этого объяснения как «утверждения, основывающегося на прочном фундаменте доказательств» (с. 52/61). И дело здесь заключается вовсе не в слабости аргументационных построений в первой части «Нины» по поводу источника двуименности Арбениной, а в особом статусе понятия «доказательство» в эмпирических науках, тем более в науках гуманитарного цикла. По моим представлениям, только относительно математических дисциплин можно говорить о доказательстве в строгом смысле; что же касается эмпирических наук, для них можно лишь констатировать ту или иную степень обоснованности предлагаемых утверждений. Поскольку данная проблема представляется очень важной и методологически принципиальной для филологии, я позволю себе привести обширную цитату из статьи А. А. Зализняка [2000: 21]:

У гуманитария же вообще нет возможности что-либо доказать в абсолютном смысле этого слова. Если слово «доказать» и применяется иногда в гуманитарных науках, то лишь в несколько ином, более слабом смысле, чем в математике. Строгого определения для этого «доказательства в слабом смысле», по-видимому, дать невозможно. Практически имеется в виду, что предложенная гипотеза, во-первых, полностью согласуется со всей совокупностью уже известных фактов, имеющих отношение к рассматриваемой проблеме, во-вторых, является почему-либо безусловно предпочтительной из всех прочих мыслимых гипотез, удовлетворяющих первому требованию.

В отличие от математического доказательства «доказательство в слабом смысле» может и рухнуть, если откроются новые факты или будет выяснено, что автор не учел каких-то принципиально мыслимых возможностей.

из трех фамилий, символизирующих „абстрактного русского“ – для проходного персонажа – в противовес иностранным фамилиям других действующих лиц пьесы (Штраль, Звездич, Шприх). Фамилию *Петков* нельзя считать типично русской – скорее болгарской.

¹⁷ Здесь в [Лермонтов 1956] дается ссылка на комментарий Б. М. Эйхенбаума в другом научном издании – [Лермонтов 1935: 551]: «Является мысль, что *Нина* – не настоящее официальное имя героини, а домашнее, ласкательное (в те годы вообще очень модное), употребляемое в близком кругу, официальное же ее имя – Настасья Павловна (в третьей редакции, в связи с рифмой, – Настасья Алексеевна). У читателя или зрителя 30-х годов подобное сочетание имен, по-видимому, не вызывало недоумения. Такое переименование было тогда обычным явлением (...)».

По поводу данной цитаты замечу, что понятие «доказательство в слабом смысле», думается, отнюдь не ограничено гуманитарной областью, а распространяется вообще на все эмпирические науки.

Исследуя некоторые не получившие ранее удовлетворительного комментария места «Евгения Онегина», А. Б. Пеньковский строит свою версию глубинного сюжета романа в стихах. По этой версии, в ранней юности у Онегина, вскоре после его появления в петербургском свете, был мучительный роман с замужней женщиной, роковой героиней культурного мифа, оставивший глубокий, тяжкий след в его душе, определивший его тоску (а вовсе не скуку); эта тоска и тягостные воспоминания о давнем юношеском любовном опыте парализовали Онегина, они объясняют, по мнению Пеньковского, многое в его образе жизни и поведении: его уход от света, сельское отшельничество, отповедь Татьяне, его жестокое по отношению к Татьяне и Ленскому поведение на именинах... Автор книги указывает нам героиню юношеского романа Онегина: это, по мнению А. Б. Пеньковского, Нина Воронская из восьмой главы, и она же скрыта под сокращением R. C. в строках дневника Онегина, оставшегося вне текста романа.

Я не могу не сказать о своем двойственном отношении к изложенной версии глубинного сюжета «Онегина».

С одной стороны, мне представляется неправомерной категорическая уверенность ее автора: построения, которые по самой сути могут претендовать лишь на гипотетичность, поданы как безусловно верные, не допускающие возражений, как единственно возможный способ объяснения некоторых действительно загадочных мест Пушкинского романа в стихах и других произведений Пушкинской эпохи. «Глобализация» образа Нины, его распространение на всю первую половину XIX века, придание ему статуса культурного мифа – эти сильные обобщения автора обсуждаемой книги, по-моему, следовало бы подать как предположения. Что же касается утверждения о глубокой и сильной любви, испытанной Онегиным в светском Петербурге до встречи с Татьяной, оно обосновано А. Б. Пеньковским весьма убедительно (об этом бегло и без развернутой аргументации говорили ранее и другие исследователи¹⁸). Однако отнесение мучительного романа к столь раннему возрасту Онегина – к 15 или 16 годам – выглядит уже менее убедительно, и здесь, кажется, следовало бы соблюсти большую осторожность. В частности, трудно приписать, как это делает автор «Нины», юноше, только что «увидевшему свет» следующие строки альбома (фрагмент 1): «Меня не любят и клеветуют, / В кругу мужчин несносен я. / Девчонки предо мной трепещут, / Косятся дамы на меня». Такие строки естественно написать Онегину первой главы, «как Child–Harold, угрюмому, томному». А. Б. Пеньковский считает, что опытный мужчина не мог бы написать фразу «В кругу мужчин несносен я». Этот аргумент мне непонятен: мужчины здесь упоминаются в ряду девчонок и дам, да и в отсутствие последних эта фраза от лица мужчины, по-моему, совершенно нормальна. К тому же, если относить эту запись к столь молодому возрасту Онегина, то неясно, как совместить ее со следующими строками первой главы: «Но вы, блаженные мужья, / С ним оставались вы друзья: / Его ласкал супруг лукавый, / Фобласа давний ученик, / И недоверчивый старик, / И рогоносец величавый (...)» (I–XII).

А вот описание погони за R. C. в том же дневнике (запись № 9), действительно, принадлежит скорее перу юноши, нежели светского льва:

¹⁸ Автор «Нины» называет (на с. 101–102/112–114) Н. Л. Бродского [1950: 199–200] (в жизни Онегина было «большое чувство» – «неразделенная, не встретившая отклика любовь, наложившая глубокий отпечаток на (его) душевный склад») и В. Е. Хализева [1987: 55] (говорившего о «триаде» в «духовной судьбе» Онегина: «живые чувства ранней молодости – омертвление души, сопряженное с произволом эгоистических порывов и заблуждениями, – путь к возрождению»). Сюда же следует добавить – по персональному указанию А. Б. Пеньковского – работу [Соловей 1977: 113–115], где говорится о романе Онегина до его встречи с Татьяной «с замужней R. C.» (из Альбома Онегина): «Принятая автором последовательность их (записей Онегина в дневнике) включения позволяет проследить развитие чувства Онегина к R. C. Запись 10-я („ я вас люблю“) – своеобразно выраженная кульминация любовных переживаний героя романа в один из ранних периодов его жизни» [Там же: 115].

Вчера у В., оставя пир, / R. С. летела, как зефир, / Не внемля жалобам и пеням; / А мы по лаковым ступеням / Летели шумною толпой / За одалиской молодой. / Последний звук последней речи / Я от нее поймать успел, / Я черным сободем одел / Ее блистающие плечи, / На кудри милой головы / Я шаль зеленую накинул, / Я пред Венерою Невы / Толпу влюбленную раздвинул.

Здесь вполне правомерно усматривать – вслед за Пеньковским (с. 270/304–305) – переключку и с погоней за Дафной из юношеского «Монаха», и с юным пажем из стихотворения «Паж, или пятнадцатый год», и с «Клеопатрой Невы» и погоней Онегина за Татьяной из восьмой главы (строфа ХХХ). Однако другие записи дневника Онегина, носящие эпиграмматический характер, переносят нас скорее к дням его более продвинутого светского опыта. Об альбоме, правда, у Пушкина сказано, что это был «журнал, в который душу изливал Онегин в дни свои молодые», однако и Онегин, «летающий в пыли на почтовых» из Петербурга, назван во второй строфе романа «молодым повесой». Из этого, кажется, следует сделать вывод об определенной непоследовательности в содержании дневниковых записей Онегина, которая, возможно, была бы устранена Пушкиным, если бы он допустил его дневник на страницы романа. А раз этого не произошло, на данные альбома не следует опираться столь безоговорочно, как делает А. Б. Пеньковский.

Не стоило бы столь решительно настаивать на том (с. 270–271/305–306), что именно Нина Воронская, бегло упомянутая в восьмой главе, и есть героиня раннего любовного опыта Онегина; это тоже из разряда предположений, для уверенного отождествления Воронской с возлюбленной Онегина оснований немного. Восьмая глава «Онегина» несет на себе заметный след поэмы Баратынского «Бал» (в свою очередь многое заимствовавшей из первых пяти глав романа в стихах) – см. [Проскурин 1999: 180–196; Шапир 2002: 93–96], и образ Нины Воронской с большой долей уверенности можно считать навеянным образом княгини Нины из «Бала». Это отмечает и автор «Нины» (с. 29/35–36).

Слишком уверенно и безоговорочно интерпретируется реплика Ленского «Да, Татьяны именины...» (4-*XLIX*) в восприятии Онегина, «разложившего», по мысли А. Б. Пеньковского, последнюю словоформу на две части и вычленившего из нее некогда столь ему дорогое, а ныне едва ли не ненавистное имя Нины – рядом с именем Татьяны (с. 257/288 и сл.). В пользу этого приводится обширный и впечатляющий материал, свидетельствующий о необычайно чутком слухе у Пушкина и у его просвещенных современников, о шарадном искусстве той поры; подчеркивается неслучайность постановки словоформы *именины* в сильную позицию рифмы – сразу после *Татьяны* (вместо черновых вариантов: «Я? Да ты зван на именины. / Велели звать...»; «Да, да ты зван на именины / Татьяны – Олинька и мать / Тебя зовут...»). Вся эта не лишняя интереса игра ума может быть основанием лишь для предположения, не более.

Или еще такой пример объединения в одном разборе неоспоримой глубины и излишней категоричности. Обращаясь к «бильярдному» эпизоду (4-*XLIV*), А. Б. Пеньковский задает простой вопрос: «Какие «расчеты» здесь имеются в виду?» (с. 115/127) – и убедительно отвергает осмысление этого слова как «расчисление, подсчет», т. е. в первом значении из [СЯП, т. III: 997] (вряд ли Онегин подсчитывал загнанные в лузу шары, расход, приход или что-нибудь другое). Внимательный анализ показывает, что ни одно из значений слова *расчет* в [СЯП] в точности не подходит для данного контекста. Разбор в «Нине» меня убеждает: *расчеты* в данном контексте могут быть поняты как семантический субстантивный дериват (во мн. числе) от глагола *расчесться* [*с чем-либо*] – в смысле «освободиться от чего-либо, покончить с чем-либо».¹⁹ С чем же Онегин рассчитывается, с чем хочет покончить? По уверенному утверждению автора «Нины», «со своим мучительным прошлым», а его игра на бильярде в два шара

¹⁹ Ср. употребление этого глагола в «Путешествии в Арзрум» – о Грибоедове: «Он почувствовал необходимость расчесться единойжды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь».

– «это еще и ярчайший образ враждебного диалога, диалога между Ним и Ею, прерванного в реальной действительности, но продолжающегося и бесконечно длящегося в его сознании» (с. 117/130). Здесь снова в изложении А. Б. Пеньковского мне не хватает показателей предположительной модальности.

Да, автор «Нины» подчас бывает столь увлечен своей концепцией, ведет изложение на таком высоком эмоциональном накале, что забывает о научной строгости, сдержанности и необходимой аргументации.

С другой стороны, версия А. Б. Пеньковского о романе Онегина с замужней дамой обладает весьма мощной объяснительной силой, а тем самым и ценностью. «Евгений Онегин» – одно из самых сложных произведений не только у Пушкина, но и во всей русской литературе. Оно содержит немало загадочных мест, среди которых есть и вовсе не истолкованные. Можно указать на начальные строки, споры о которых не умолкают по настоящее время (см. [Перцов 2000а: 63, сн. 4; 2000б]). К представлению о полной понятности и прозрачности Пушкинского романа я не могу не относиться с недоумением. Я хотел бы предложить читателю несколько требующих истолкования мест, на которых до «Нины» исследователи не останавливали своего внимания или которые получали явно неадекватное объяснение. Можно не принимать общую концепцию А. Б. Пеньковского, можно принимать ее с известными оговорками, но нельзя закрывать глаза на то, что в Пушкинском романе остается некий глубинный сюжетный слой, который скрыт от поверхностного восприятия и недостаточно освоен нашим культурным сознанием и нашей наукой.

Рассказ о глубоком любовном чувстве Онегина, как можно судить по данным «Нины», сосредоточен в четырех местах романа в стихах: (1) глава первая, строфы XLV–XLVII; (2) глава вторая, строфы XVII–XIX; (3) глава четвертая, ее начальные строфы VIII, IX и XI, строфы XII, XIII и XVI из «исповеди» Онегина; (4) глава восьмая, строфы XXI и XXXVI.

В первом отрывке повествователь, рассказывая о своем знакомстве с Онегиным («Условий света свергнув бремя, / Как он, отстав от суеты, / С ним подружился я в то время» — 1–XLV), говорит об «игре страстей», ведомых и ему, и герою, о «погасшем» «жаре сердца», упоминает в следующей строфе о какой-то «змие воспоминаний» и о «раскаянье», «грызущих» душу Онегина; весьма сомнительно, что эти страсти, жар сердца, воспоминания и раскаянье могли относиться к любовным победам Онегина над «кокетками записными» и «красотками молодыми» с помощью тех утонченных приемов, о которых столь подробно было поведено читателю ранее – в строфах X–XII («Как рано мог он лицемерить, (...) Как он умел казаться новым, (...) Как рано мог уж он тревожить / Сердца кокеток записных»), Следующая XLVII строфа – начало описания петербургской белой ночи, столь пленившего в свое время Плетнева, – относит повествователя и героя «к началу жизни молодой»: они вспоминают «прежних лет романы» и «прежнюю любовь».²⁰

Во втором отрывке речь снова идет о «страстях», занимавших «умы пустынных моих»: в беседах с Ленским Онегин, «ушедший от их мятежной власти», говорит о них «с невольным вздохом сожаленья» (2–XVII); при этом он, «в любви считаясь инвалидом», внимательно и серьезно слушает любовную исповедь Ленского – «страстей чужих язык мятежный». Из всего контекста ясно, что Онегин слушает рассказ о том, что некогда пережил сам.

По-видимому, наиболее значительное свидетельство глубокой ранней любви Онегина дает третий из упомянутых отрывков – начало четвертой главы. Не касаясь выпущенных

²⁰ Хотелось бы обратить внимание еще на одно загадочное (даже таинственное) место, хотя и не близкое к нашему первому отрывку, но все же принадлежащее первой главе: Онегин «из уборной выходил / Подобный ветреной Венере, / Когда, надев мужской наряд, / Богиня едет в маскарад» (1–XXI). Автор «Нины» связывает (на с. 354–355/400–401) этот образ Венеры с «Венерой Невы» из приведенной выше записи № 9 «Альбома Онегина», а тем самым – с «Клеопатрой Невы» из восьмой главы. Здесь, как и в ряде других случаев, иные сочтут построение автора несколько фантастичным (меня оно убеждает), однако это все же едва ли не первая попытка объяснения неожиданного уподобления Онегина Венере – *faciant meliora potentes!*

Пушкиным шести начальных строф, необычайно важных в интересующем нас отношении и существенно подтверждающих версию автора «Нины», остановлюсь лишь на тех, которые оставлены в тексте романа. Строфу VIII, излагающую мысли и повествователя, и Онегина (следующая строфа начинается так: «Так точно думал мой Евгений»), следует привести целиком (о ней уже шла речь выше в «лексикографической» части статьи):

Кому не скучно лицемерить, / Различно повторять одно; / Стараться
важно в том уверить, / В чем все уверены давно; / Всё те же слышать
возраженья; / Уничтожать предрассужденья, / Которых не было и нет / У
девочки в тринадцать лет! / Кого не утомят угрозы, / Моления, клятвы, мнимый
страх, / Записки на шести листах, / Обманы, сплетни, кольца, слезы, / Надзоры
тёток, матерей, / И дружба тяжкая мужей!

Загадочная «девочка в тринадцать лет», кажется, до А. Б. Пеньковского не привлекала внимания комментаторов. Автор «Нины» предлагает такое истолкование (с. 140/155—156): у тринадцатилетней девочки нет тех «предрассуждений», которые были присущи героине трудного юношеского романа Онегина и которые ему пришлось преодолевать и уничтожать. Я склонен согласиться с таким истолкованием, кому-то оно может показаться спорным, однако это все же какая-то попытка предложить объяснение места, оставшегося вне поля внимания других исследователей. Далее в этой строфе перечисляются обычные «атрибуты» романа – адюльтера, в котором героиня пытается всеми способами удержать любовника, родные видят неблагополучие, а мужу-рогоносцу оно неведомо: *моления, клятвы, записки, обманы..., кольца..., дружба тяжкая мужей*. *Кольца* в данном случае следует понимать в предикатном смысле – как «обмен кольцами» (см. описание этого слова выше): героиня пыталась обменом кольцами скрепить союз с возлюбленным или оставить себе память о нем, а ему – о ней. Можно представить, как все это тяготило (если не бесило) Онегина.

В следующей IX строфе снова говорится о «необузданных страстях», жертвой которых «в первой юности» был Онегин, а через строфу – в XI – упоминается «чувствий пыл старинный», ненадолго овладевший Онегиным после получения письма Татьяны. И в «исповеди»-«проповеди» Татьяне Онегин говорит о «волненье» «давно умолкнувших чувств» (строфа XII), о своем «прежнем идеале» (XIII) и о том, что он «не обновит души» своей (XVI).

Четвертый отрывок относится к последней восьмой главе. На следующее утро после встречи с Татьяной на рауте Онегин получает письмо от князя Н с приглашением на вечер, и повествователь вопрошает: «Что шевельнулось в глубине / Души холодной и ленивой? / Досада? суетность? иль вновь / Забота юности – любовь?» (8-XXI). Думается, вполне возможна интерпретация последнего фрагмента не в обобщенном смысле, а в частном – как любви Онегина в юности.

Однако ключевой для нашей темы в восьмой главе является XXXVI строфа (о которой тоже уже шла речь):

И что ж? Глаза его читали, / А мысли были далеко; / Мечты, желанья,
печали / Теснились в душу глубоко. / Он меж печатными строками /
Читал духовными глазами / Другие строки. В них-то он / Был совершенно
углублён. / То были тайные **преданья** / Сердечной, темной **старинны**. / Ни с
чем не связанные **сны**. / Угрозы, толки, предсказанья. / Иль длинной сказки
вздор живой, / Иль письма девы молодой.

Четыре строки в этой строфе – с 9-й по 12-ю – сходятся с первым катреном V строфы пятой главы:

Татьяна верила **преданьям** / Простонародной **старинны**. / И **снам**, и
карточным гаданьям, / И **предсказаниям** луны.

Лексический и синтаксический параллелизм этих двух отрывков удивителен и знаменателен, и он вполне может навести читателей и исследователей на прямое народно-фольклорное истолкование обсуждаемой строфы, в соответствии с которым Онегин приобщается в своем кабинетном заточении к миру фольклорной старины и народной поэзии, духовно перерождается, становится ближе к глубинным национальным корням (таково было мнение Г. А. Гукковского, а вслед за ним – Ю. М. Лотмана, Ю. Н. Чумакова, Н. Д. Тамарченко и др.). Однако, как показано в «Нине» (с. 105–107/117–120), ничто в романе этого не подтверждает: Онегин чужд миру «народной поэзии, простоты и наивности». Если же осмысливать слова *преданье, старина, сон, сказка* в данной строфе так, как предлагает Пеньковский и как это было воспроизведено выше, – читатель может посмотреть на его осмысления, приводимые в настоящей статье, – тогда можно предположить, что в этом отрывке речь идет о сумеречном сознании Онегина, читающем «строки „сказки– повести“ о его собственной жизни, которую он – одновременно и автор, и читатель, и герой – теперь, подвергая суду и переоценке, воспринимает как нечто мелкое, пустое и ничтожное – как «вздор»» (с. 113/125). И *письма девы молодой* естественно отнести не к Татьяне, написавшей только одно письмо Онегину (и поэтому множественное число в применении к нему здесь неуместно), а к давней героине его петербургского романа – замужней дамы (вспомним *записки на шести листах* из VIII строфы четвертой главы). Слово *дева* в поэтическом языке Пушкинского времени было вполне применимо к замужней женщине – это тоже обширно иллюстрируется А. Б. Пеньковским.

Соглашаясь с истолкованием XXXVI строфы восьмой главы, предложенным автором «Нины», я все же хотел бы подчеркнуть значимость лексико-синтаксической переключки двух приведенных отрывков, которой в «Нине» не уделено должного внимания. Думается, эта переключка не случайна, она нуждается в осмыслении: почему о Татьяне в пятой главе и об Онегине в восьмой автор говорит одними и теми же словами, пусть и осмысляемыми по-разному? Может быть, это своего рода «сюжетная рифма», но если так, то – в отличие от рассматриваемых в «Нине» «сюжетных рифм» романа – она понимается в плане противопоставления (а не в плане сходства). Здесь мы сталкиваемся еще с одной из загадок «Евгения Онегина».

Итак, очерченная выше сюжетная канва из четырех отрывков романа в стихах, мне кажется, весьма красноречива. Если не соглашаться с версией юношеского романа Онегина с замужней дамой, тогда нужно думать о каких-либо других объяснениях этих загадочных фрагментов, которые представляют собой только отдельные выступающие вершины подводного сюжетного хребта «Онегина» (этот удачный образ принадлежит автору «Нины»), А если учитывать активно привлекаемые А. Б. Пеньковским черновые варианты, отброшенные строфы и строки, объем свидетельств в пользу данной версии станет значительнее: начальные строфы четвертой главы, не допущенные автором в окончательный текст, подробно анализируемые в «Нине» (с. 102/114 и сл., где акцентируются исключительно важные варианты: «Я отрок был и мною правил / Ваш хитрый слабый милый пол» – и особенно существенный для версии автора «Нины»: «В 15 лет уж мною правил...» – с. 125/139); первоначальный вариант XVII строфы второй главы, находящейся во втором фрагменте намеченной выше сюжетной канвы («Но вырывались иногда / Из уст его такие звуки, / Такой глубокий чудный стон, / Что Ленскому казался он / Приметой незатихшей муки» – с. 94/105); записи онегинского альбома...

Читатель, надеюсь, смог убедиться в обилии тонких наблюдений у автора и его проникновении в семантические глубины Пушкинского романа. Приведу еще один пример такого рода. Зоркость исследователя я хотел бы продемонстрировать на примере анализа двух строф, относящихся к именинному балу в пятой главе. Автор отмечает противоречивость в описании состояния Татьяны после появления Онегина (строфа XXX): «Едва ли высшая степень бледности ("утренней луны бледней") и "трепет гонимой лани" совмещаются с "пышущим бурно жаром"» (с. 264/295), и это противоречие «обнаруживает смешение двух наблюдательских позиций и точек зрения: сочувствующего Пушкина (может быть, точнее сказать – повест-

вователя) и пристрастно судящего, почти издевающегося Онегина» (с. 263/295). Возможно, причина внутреннего бешенства Онегина состоит в том, что он увидел и во всей обстановке именинного бала, и в поведении близкой к обмороку Татьяны, и в шутовском куплете Трике пародию на те петербургские балы, на которых были свои «траги-нервические явления» и свои «стихи».²¹ – Четырьмя строфами ниже мы наблюдаем – отмечает автор «Нины» – какие-то нелепые «захлебывающиеся и застревающие во рту» (с. 266/298), чередующиеся вопросительные частицы и разделительные союзы:

Пошли приветы, поздравлены; / Татьяна всех благодарит. / Когда же
дело до Евгенья / Дошло, то девы томный вид, / Ее смущение, усталость / В
его душе родили жалость. / Он молча поклонился ей, / Но как-то взор его
очей / Был чудно нежен. Оттого **ли**, / Что он и вправду тронут был, / **Иль**
он, кокетствуя, **шалил**, / **Невольно ль!** **иль** из доброй **воли**, / Но взор сей
нежность изъявил; / Он сердце Тани оживил (5-XXXII").

Еще до знакомства с «Ниней» я отрицательно оценивал поэтическое качество этой строфы, и она казалась мне странной в окружении свободного повествования поэта-мастера. Как-то кургузо усечено красивое имя героя в позиции рифмы в третьей строке; искусственно выглядит сочетание *родили жалость*; мелодичные плавные аллитерации (показанные полужирным шрифтом) выглядят совершенно ненужным украшением; в 12-й строке вопросительная частица *ль* (перед восклицательным знаком, совершенно напрасно убираемым в современных изданиях «Онегина»²²) паразитирует в соседстве союза *иль*; громоздок синтаксис завершающего строфу периода – «Оттого ли... но...». Тот, кто согласится с недоумением А. Б. Пеньковского (и автора настоящей работы) по поводу несовершенства этих стихов, должен оценить и предположение автора «Нины»: внешне поэт предоставляет читателю догадываться о причинах нежности «взора очей» героя, а «дефекты» стиха выдают его истинный мотив – притворство (автор «Нины» напоминает нам об Онегине из первой главы: «Как томно был он молчалив, (...) Как взор его был быстр и нежен» — I-X).

Богатство материала, представленного в «Нине» – как в основном тексте, так и в обширных примечаниях, – производит большое впечатление. Среди отступлений особенно выразительны антропонимические экскурсы. Читатель погружается в далеко ушедшую от нас жизнь современников Пушкина, в их дела, заботы, быт, привычки, языковые игры, в ход журнально-газетной литературы. Подчас обилие цитат, привлекаемых автором для подтверждения той или иной мысли, может быть, превышает разумный уровень. У меня, случалось, возникал при чтении «Нины» вопрос: не переходит ли увлеченный автор иногда определенную грань в обосновании своих построений? Как уже говорилось, эмоциональный тонус «Нины» необычайно высок, и я вполне могу понять некоторых коллег-филологов, отмечавших эмоционально-интеллектуальное давление со стороны автора «Нины», своего рода заклинания. Книга, вероятно, выиграла бы, если бы автор внес в нее больше спокойной аргументации и убрал эмоциональные всплески.

В заключении автор «Нины» говорит о том, что язык Пушкинского времени столь существенно отличается от современного русского языка, что его следует признать по существу

²¹ Вспомним несколько неожиданное «вторжение» *стихов* в строку из первой главы о *скуке* Онегина в деревне, где нет «ни карт, ни балов, ни стихов» (I-LIV). Этому возможному «предвестию» стихов мосье Трике посвящена отдельная работа [Пеньковский 19996] и глава в книге [Пеньковский 2005: 61–75].

²² В первом (поглавном) и во втором изданиях «Евгения Онегина» здесь стояла запятая; в последнем прижизненном издании 1837 г. в середине 12-й строки мы видим восклицательный знак. Может быть, Пушкин с его помощью хотел разъединить нелепо столкнувшиеся служебные слова – *ль* и *иль*, однако получился какой-то неестественный вскрик внутри синтаксического течения фразы. Странность этого вскрика склоняет к сомнению в том, что «нежность очей» героя произвольна или является следствием «доброй воли».

другим языком, очень близким к нашему, но все же другим (с. 472/580). В данном случае я вынужден заявить о своем решительном несогласии с этим тезисом автора «Нины».

Здесь уместно задать вопрос: в каких случаях мы говорим о двух идиомах²³ как о принадлежащих к одному языку, а в каких – как о представителях разных языков? Мне представляется, что строго научных критериев здесь нет и быть не может, ибо принадлежность к одному языку устанавливается в общем и целом интуитивно – на основе ощущения степени понятности: насколько у носителей одного идиома есть ощущение понятности речи или текстов, порождаемых представителями другого. Если различия между идиомами не переходят через некоторый нестрогий порог (по-видимому, не поддающийся формализации) и если сами их носители соглашаются с единством их языка, мы имеем дело с одним языком, в ином случае – с разными. При такой согласии носителей языка различия между идиомами вовсе не отменяются; часть таких различий может фиксироваться сознанием говорящих, а часть может находиться за порогом языкового сознания. Путешествуя по России, мы в очень многих местах услышим речь или прочитаем тексты, существенно отличающиеся – в семантическом, синтаксическом, морфологическом или фонетическом отношении – от нашей языковой практики, однако с уверенностью признаем их принадлежащими к единому русскому языку.

В отношении языка Пушкинской поры имеет место именно такое положение вещей: у нас есть полное ощущение его понятности и близости нашему языковому сознанию. Верно, что иногда – даже нередко – это ощущение нас подводит, и мы не видим некоторых нюансов, совершенно явных для читателей Пушкинского времени. Много изменилось, однако если поставить мысленный эксперимент и переместить среднего современного россиянина на полтора-два века назад, вряд ли можно усомниться, что он легко установит языковой контакт с предками–соотечественниками. Если все же настаивать на том, что литературный язык Пушкинской поры и современный литературный язык – это разные языки, тогда нужно пересмотреть очень многое в нашем обыденном представлении о тождестве языка. По моим представлениям, язык, скажем, Андрея Платонова отличается от современного общелитературного языка едва ли не в большей степени, чем язык Пушкина и многих его современников.

Мне представляется, что не следует отказываться, как к этому призывает А. Б. Пеньковский в заключительном разделе книги (с. 472/580), от традиционного понимания современного русского литературного языка в соответствии с формулой «от Пушкина до наших дней». На мой взгляд, это хорошая и справедливая формула: при всех существенных изменениях современный русский литературный язык таков, каков он есть, именно благодаря уникальной языкотворческой деятельности «первенствующего поэта русского» (из дневниковой записи А. Н. Вульфа 1827 г.). И мне думается, что современные толковые словари русского языка должны были бы в большей мере отражать смысловые особенности языка русской старины, в том числе и те, которые обнаружены А. Б. Пеньковским (как в опубликованных работах, так и в его публичных выступлениях). Язык, взятый в синхронном состоянии, сохраняет историческую память на всех уровнях; он не является монолитным, не отделен преградами от своих предшествующих состояний.²⁴ Многие значения слов, представляющиеся архаическими, устаревшими ит. п., могут в определенных контекстах актуализироваться, всплывать на поверхность, причем так, что носители языка не замечают ни налета архаики, ни языковой игры. Так, по поводу многих примеров, отмеченных выше в «лексикографической» части дан-

²³ Прибегнем здесь к этому «малоупотребительному, но практически полезному термину (...) в качестве обобщающего обозначения для языка, диалекта и говора» [Зализняк 2004: 5].

²⁴ В литературе можно отметить популярность темы описания современных лексических значений со скрупулезным учетом семантической эволюции слова (работы Е. Э. Бабаевой, Е. В. Урысон, Е. С. Яковлевой, статья Анны А. Зализняк в настоящем сборнике и др.). Иногда сохранение в том или ином виде тех компонентов слова, которые в далеком прошлом занимали иное место в его семантике или структуре его значений, называют «культурной памятью» слова (может быть, более уместно говорить об «исторической памяти»).

ной статьи, я полностью согласен с А. Б. Пеньковским: современному языку чужды упомянутые выше «архаические» значения таких слов, как *преданье* «воспоминание», *сказка*, *повесть* «поток жизненных событий, хранящийся в чьей-либо памяти», «тоскливые» значения слов *скука*, *зевота*, *лень*... Однако не во всех случаях дело обстоит с такой полной очевидностью. Скажем, слово *старина* в значении «давно прошедшее для кого-либо время» присутствует, думается, и в современном языке: вполне нормально, например, такое высказывание — *Какая же это старина!* – в применении к воспоминаниям о давнем для собеседников прошлом или при взгляде на фотографию, относящуюся к давнему для них времени. Не кажутся мне особенно архаичными и такие фразы: *В старину я неплохо играл в шахматы. Посидели, старину вспомнили; Зачем старину ворошить?* Ясно, что это значение занимает в слове *СТАРИНА* не такое место, как полтора-два столетия назад, – сейчас оно маргинально и несколько архаизировано (в современных словарях оно должно было бы помечаться каким-то особым образом, чего нет, например, в Малом академическом словаре).

Помимо «Нины», А. Б. Пеньковский опубликовал и другие интересные этюды, посвященные «загадкам пушкинского текста и словаря» [Пеньковский 1999б; 1999в; 1999 г; 2000], в которых замечательно продемонстрированы лексические значения и культурный ореол целого ряда слов; часть таких этюдов вошла в книгу [Пеньковский 2005].²⁵ В некоторых его публичных выступлениях подробно рассматривались лексические расхождения между Пушкинским и современным языком, не отмеченные в публикациях. В частности, он сделал ценные наблюдения и обобщения, касающиеся «большой масштабности» (точнее – более широкого диапазона применимости) в Пушкинское время целого пласта русских слов, которые могли применяться к ситуациям и малого, и большого масштаба, и к любым промежуточным в соответствующем диапазоне. Одно из таких слов — *старина*, но, как следует из замечаний непосредственно выше, для современного языка, по-видимому, не чужд его «малый масштаб» – применимость к событиям одной человеческой жизни. Во многих же случаях с Пеньковским трудно не согласиться. Слово *гостить* раньше могло обозначать «малый масштаб» пребывания в гостях — *Он два часа у нас гостил*, – а сейчас такая фраза звучит несколько необычно: нужно провести в гостях достаточно много времени – как правило, хоть раз переночевать, – чтобы можно было обозначить соответствующую ситуацию глаголом *гостить*. Или слово *восвояси*, в современном языке значащее примерно «к себе домой – откуда-то достаточно издалека», а в Пушкинское время, согласно предъявленному Пеньковским материалу, могущее относиться и к перемещению в место постоянного пребывания из близкой точки (тогда можно было сказать *Князь ушел восвояси* и в случае ухода князя в кабинет или спальню из гостиной). Или слово *повсеместно*, ныне предполагающее достаточно обширную сферу распространения чего-либо, а в давние времена допускающее и «малый» масштаб (сейчас странно звучит фраза типа *У нее на спине повсеместно сыть*, а в Пушкинское время – вполне нормально).

Хотелось бы надеяться, что разыскания автора «Нины» рано или поздно найдут своё воплощение в словаре, который достаточно полно отразит лексическую семантику Пушкинского времени, ее культурный ореол, ее расхождения с современным языком. О проекте и предварительных материалах такого словаря А. Б. Пеньковский рассказал в феврале 2000 г. в своем ярком докладе на IV Шмелевских чтениях, назвав его «дифференциальным словарем языка Пушкинской эпохи». Значение словаря такого рода для русской филологии и русской культуры в целом трудно переоценить.²⁶

²⁵ Среди них особого внимания заслуживает производящий необычайное впечатление зоркостью и глубиной этюд о слове *котильон* [Пеньковский 2000; 2005: 153–167], раскрывающий глубокую значимость в трагедии человеческих отношений этого бального танца, переходящего из пятой главы «Евгения Онегина» в шестую, – единственный случай, когда действие романа «пересекает» границу между главами (что было ранее отмечено также Г. О. Винокуром и Л. С. Сидяковым, на которых даются нужные ссылки).

²⁶ Автор признателен Н. Н. Перцовой, И. А. Пильщикову и М. И. Шапиру за ценные замечания к предварительным версиям

P. S. Книга А. Б. Пеньковского, его лингвистические наблюдения и его опыт объяснения некоторых неясных мест Пушкинского романа нуждаются в длительном осмыслении и освоении в нашей филологии и культуре. Требуется немалый труд и внимание, чтобы по достоинству оценить незаурядные лингвистические и историко-литературные достижения этой замечательной книги, по-настоящему разобраться в ее противоречиях, ее слишком категорическим суждениям придать статус гипотез, ее спорные построения трезво квалифицировать соответствующим образом. Здесь неуместна как безоговорочная некритическая хвала, так и огульная хула. Хотелось бы надеяться, что предложенный в данной работе разбор лишь один из первых шагов на пути осмысления «Нины». Ему предшествовали еще два отзыва на «Нину» – [Либерман 2000] и [Булкина 2000], – о которых мне хотелось бы сказать несколько слов.²⁷

Оба они достаточно кратки по сравнению с настоящей статьей; отзыв А. С. Либермана ориентирован сугубо положительно, можно сказать – хвалебно, а отзыв И. С. Булкиной – отрицательно. Ограниченность объема отзывов не позволила авторам провести подробного разбора книги. В отзыве Либермана существенной критики нет, отзыв же Булкиной сосредоточен в основном на слабостях книги. Удивляет менторски снисходительный тон И. С. Булкиной по отношению к незаурядному труду, который она высокомерно называет «отнюдь не бесполезной книгой» [Булкина 2000: 383], а всё достоинство которого видит лишь в «замечательно интересных антропонимических наблюдениях» [Там же: 385] и в некоторых существенных дополнениях к «Словарю языка Пушкина». Зато критики, преимущественно необъективной и порой профессионально несостоятельной, на трех неполных журнальных страницах у Булкиной предостаточно. Коснусь некоторых ее нападок.

- Не верно, что А. Б. Пеньковский «в примечаниях впадает в полемику (...) с А. С. Немзером и А. Л. Зориным» [Булкина 2000: 383], – автор «Нины» их дополняет, см. примеч. 90 к Части первой: «А. Л. Зорин и А. С. Немзер увидели в этом ответе «очевидную» "проекцию на карамзинскую повесть" (...) Не исключая такой возможности, следует учитывать (...)» (с. 404).

- Булкина, утверждающая, что она «вовсе не травестирует исследовательский сюжет Пеньковского, а близко к тексту пересказывает главы 3.3 (...) и 3.4» [Там же: 385], на самом деле занимается именно травестированием – переиначивает упомянутые главы книги, сводит интересные размышления автора «Нины» о действительно немалой роли куплета Трике в сюжете романа к превращению Пушкина в мосье Трике, а всего романа – в его куплет.

- Глубокие лингвистические наблюдения автора в связи со словом *дева* (см. выше в настоящей статье) Булкина называет «лингвистическими эмпириями», а вполне законное привлечение, помимо Пушкинских текстов, также и произведений других авторов Пушкинской поры (например, Бенедиктова) для уяснения смысла слова в Пушкинское время аттестует «свидетельство ванием за Пушкина» [Там же].

- Приписывая автору «Нины» «невероятные умозаключения, вроде того, что "Граф Нулин" и «Бал» вышли под одной обложкой потому, что оба автора "были жертвами одной общей для них Нины" (с. 342)» [Там же: 386], Булкина (впрочем, может быть, ненамеренно и незлостно) опускает скобки, охватывающие вставное предложение, которое она делает главным в своем пересказе. Вот соответствующая цитата, взятая со стр. 342 «Нины»: «(...) он (Пушкин) мысленно обращается (...) к Баратынскому, (...) будущему автору «Бала» (...). Пуш-

настоящей работы.

²⁷ Что касается позорной рецензии В.С. Баевского, ошеломившей филологическую общественность неприличием и оскорбительностью и получившей достойную отповедь во вступлении ко второму изданию «Нины», мне не хочется даже давать её выходные данные ни здесь, ни в разделе «Литература». – Из рецензий на второе издание «Нины...» мне известны положительная (и лишённая критики) рецензия М. А. Кронгауза в «Критической массе» (2004, № 2) и странная рецензия А. Ю. Балакина в «Новом мире» (2004, № 12); последняя обнаруживает (при известной доле справедливых критических замечаний) «скудость и нищету понимания», что отмечено в сопровождающей эту рецензию реплике С. Г. Бочарова, откуда взята приведенная в кавычках характеристика, принадлежащая Андрею Битову и относящаяся к некоторому роду научных работ («(...) фактические ошибки (в книге А. Б. Пеньковского) застилают ему (Алексею Балакину) горизонт» – это уже слова самого Бочарова).

кин опередил его со своей Ниной ("Бал" выйдет только через два года и под одной обложкой с "Графом Нулиным"), поскольку оба они были жертвами одной общей для них **Нины** и оба жили «страстями» по А. Ф. Закревской». Стало быть, следствием является не выход поэм под одной обложкой, а нечто другое – общий характер взаимоотношений поэтов.

При чтении таких «критик» мне обычно вспоминается восклицание Чаадаева «Какие они все шалуны!», воспроизводимое в главе XXXIII Части четвертой «Былого и дум» по поводу общения автора с петербургским обер-полицмейстером Кокошкиным («Кокошкин держит в руках бумагу, в достоверности которой не сомневается, на которой стоит № и число для легкой справки, в которой написано, что мне разрешается приезд в Петербург, и говорит: "А так как вы приехали без позволения, то отправляйтесь назад", и бумагу кладет в карман»).

Список литературы

- Бродский 1950 — *Бродский Н. Л.* Евгений Онегин: роман А. С. Пушкина. М., 1950.
- Булкина 2000 — *Булкина И.* [С.] [Рец. на кн.:] *Пеньковский А. Б.* Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 1999 // Новое литературное обозрение. 2000. № 44.
- Еськова 1999 — *Еськова Н. А.* Хорошо ли мы знаем Пушкина? М., 1999.
- Зализняк 2000 — *Зализняк А. А.* Лингвистика по А. Т. Фоменко // История и антиистория: Критика «новой хронологии» академика А. Т. Фоменко. М., 2000.
- Зализняк 2004 — *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. М., 2004.
- Кобозева 2000 — *Кобозева И. А.* Лингвистическая семантика: Учебн. пос. М., 2000.
- Кравченко 1999 — *Кравченко Н. П.* Семантический синкретизм в языке А. С. Пушкина // Научный и образовательный журнал (Изд. Кубанского гос. ун-та). 1999. 15/99.
- Лермонтов 1935 — *Лермонтов А. И. Ю.* Полное собрание сочинений: В 5 т. Т. IV / Ред. текста и коммент. Б. М. Эйхенбаума. М.; Л., 1935.
- Лермонтов 1956 — *Лермонтов А. И. Ю.* Сочинения: В 6 т. Т. 5: Драммы / Под ред. Н. Ф. Бельчикова, Б. П. Городецкого, Б. В. Томашевского; ред. 5-го тома – Б. П. Городецкий. М.; Л., 1956.
- Либерман 2000 — *Либерман А.* [С.] [Рец. на кн.:] *Пеньковский А. Б.* Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 1999 // *New York Review*. 2000. № 217.
- Лотман 1980 — *Лотман Ю. А.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1980.
- Николаева 1996 — *Николаева Т. А.* «Бусый волк» Игорь и «оборотничество» пушкинских персонажей // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. М., 1996.
- Пеньковский 1999 — *Пеньковский А. Б.* Об «антипоэтическом характере» Онегина, или Как читать Пушкина // Пушкин и теоретико-литературная мысль. М., 1999.
- Пеньковский 1999а — *Пеньковский А. Б.* Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 1999.
- Пеньковский 1999б — *Пеньковский А. Б.* Загадки пушкинского текста и словаря. «Нет... ни балов, ни стихов». М., 1999.
- Пеньковский 1999в — *Пеньковский А. Б.* Загадки пушкинского текста и словаря. 1. *Квакер* // Художественный текст и культура. Владимир, 1999.
- Пеньковский 2000 — *Пеньковский А. Б.* Пушкинский текст и текст культуры. *Котильон* // Поэтический текст и текст культуры: Междунар. сб. науч. трудов. Владимир, 2000.
- Пеньковский 2003 — *Пеньковский А. Б.* Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. 2-е изд., испр. и доп. М., 2003.

Пеньковский 2005 — *Пеньковский А. Б.* Загадки пушкинского текста и словаря: Опыт филологической герменевтики / Под ред. И. А. Пильщикова, М. И. Шапира. М.: Языки славянских культур, 2005.

Перцов 2000а — *Перцов Н. В.* О неоднозначности в поэтическом языке // *Вопр. языкознания.* 2000. № 3.

Перцов 2000б — *Перцов Н. В.* Загадка начала «Евгения Онегина» // *ИАН СЛЯ.* Т. 59. 2000. № 3. С. 25–30.

Перцов 2001 — *Перцов Н. В.* Инварианты в русском словоизменении. М., 2001.

Перцов 2008 — *Перцов Н. В.* О соотношении письменной и устной форм поэтического языка: (К вопросу о функциональной нагруженности старого русского правописания) // *Вопр. языкознания.* 2008. № 2. С. 30–56. Проскурин 1999 — *Проскурин О. А.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999.

Соловей 1977 — *Соловей Н. Я.* Из истории работы А. С. Пушкина над сюжетом «Евгения Онегина» (Альбом Онегина) // *Замысел, труд, воплощение...* М., 1977. СЯП – Словарь языка Пушкина: В 4 т.: М., 1956–1961.

Тынянов 1965 — *Тынянов Ю. Н.* Проблема стихотворного языка: Статьи. М., 1965. Хализев 1987 — *Хализев В. Е.* Завершение действия «Евгения Онегина» // *А. С. Пушкин.*

Проблемы творчества. Калинин, 1987. Шапир 2002 — *Шапир М. Е.* Пушкин и Баратынский: (Поэтические контексты «Медного Всадника») // *К 200-летию Боратынского: Сб. материалов междунар. науч. конф., сост. 21–23 февраля 2000 г. (Москва—Мураново).* М., 2002. Элиаде 2000 — *Элиаде М.* Аспекты мифа / Пер. с франц. М., 2000. Эмерсон 1996 — *Эмерсон К. Татьяна* // *Вестник МГУ Сер. 9. Филология.* 1996. № 6.

Анна А. Зализняк

Об эволюции концепта *отдыхать* в русском языке²⁸

Дорогому, Александру Борисовичу Пеньковскому
к юбилею

В своем обширном и блестящем исследовании «Загадки пушкинского текста и словаря» А. Б. Пеньковский выявил множество смысловых отличий словоупотребления той эпохи от современного – от «тонких и тончайших» (если воспользоваться выражением А. В. Исаченко) до таких, незнание которых весьма существенно искажает смысл пушкинского текста. Продолжая эту линию исследования, приведу еще один такой пример (который как раз в книге не обсуждается). Тысячи русских школьников и школьниц, читающих письмо Татьяны, понимают фразу *Но так и быть! Судьбу мою / Отныне я тебе вручаю* («Евгений Онегин», гл. 3, XXXI) как содержащую идиому *так и быть*, употребляя которую говорящий дает понять, что упомянутое действие он совершает, уступая желанию адресата. Современный читатель (в особенности молодой и филологически неискушенный, каковым является средний школьник) обычно не сомневается в том, что он правильно понимает данную фразу – несмотря на несообразность результирующего смысла: ведь Онегин к тому моменту ни о чем Татьяну не просил. Действительно, чуть более внимательное отношение к тексту заставляет в этом месте задуматься и искать причину этой видимой смысловой несогласованности, которая состоит в том, что выражение *так и быть* обозначает здесь вовсе не уступку желанию адресата речи, а решимость покориться судьбе (ср. *Так тому и быть!*).

1. Дышать и отдыхать

В статье, посвященной анализу глагола *вздохнуть*, А. Б. Пеньковский демонстрирует, что этот глагол имел особое, не фиксированное словарями значение «преодолеть состояние задыхания; восстановить дыхание, отдышаться»; в частности, именно это значение представлено в строках *Но наконец она вздохнула / И встала со скамьи своей* («Евгений Онегин», гл. 3, XLI) [Пеньковский 2005: 88–89]. Далее отмечается, что то же значение восстановления нормального дыхания имел глагол *отдохнуть*, ср.:

(1) Наконец Степан Петрович умолк, приподнялся, *отдохнул* и начал ходить по комнате [Тургенев. Два приятеля, 1853].

Данное значение не сохранилось в современном языке, и тем самым нынешний читатель либо понимает такие предложения неправильно (приписывая глаголу современное значение и в той или иной степени удивляясь его неуместности в данном контексте), либо вообще не может приписать им никакого смысла; таковы примеры (1)–(6), (8)–(11).

Между тем, глагол *отдохнуть* в языке XIX в. имел даже не одно, а несколько значений, впоследствии утраченных. Исследованию этого вопроса и посвящена настоящая статья.

Надо сказать, что процесс дыхания и, соответственно, описывающие его слова (образованные от основы *дых-/дох-/дух-*) уникальны в том отношении, что они принадлежат одновременно сферам «души» и «тела» – ср., например, структуру полисемии слова *дух* [Урысон 2003: 59–72]. Действительно, в языковой картине мира *дыхание* является важнейшей, обеспечивающей *жизнь* (ср. *еле дышит; бездыханный* = «мертвый») физиологической функцией орга-

²⁸ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 05-04-04026а. Примеры, взятые из Национального корпуса русского языка, имеют помету «ruscorpora».

низма, т. е. *тела*, – и одновременно формой репрезентации и эманацией *души* (связи *души* с *дыханием* многообразны и подробно описаны, здесь нет нужды на этом останавливаться). В частности, дыхание является признаком жизни именно потому, что свидетельствует о присутствии *души* в *теле*. Поэтому обозначение душевных состояний при помощи слов с основой *дых-/дох-/дух-* (таких как *вдохновение*)²⁹ исходно не содержит метафорического переноса «тело»→"душа", характерного для большинства обозначений эмоциональных и психических состояний (ср. *душа болит; жар душиц душевные раны* и т. п.),³⁰ а апеллирует непосредственно к образу человека в языковой картине мира. Тем не менее вопрос о направлении семантической производности между значениями «отдохнуть телом» и «отдохнуть душой» представляет определенные трудности; мы вернемся к нему после обсуждения всего списка значений.

А. Б. Пеньковский выделяет у глагола *отдохнуть* два значения:

- (I) «преодолеть состояние задыхания; восстановить дыхание, отдышаться» (это же значение имеется у *вдохнуть*) [Пеньковский 2005: 80];
(Ia) "восстановить душевные силы, успокоиться" [Там же: 88–89].

Оба эти значения при более детальном анализе оказываются неоднородны. Рассмотрим следующий пример из указанной работы (с. 88):

- (2) Для шутки камешек лукнул / И так его зашиб, что чуть он отдохнул
[И. Дмитриев. Два голубя].

Это предложение призвано иллюстрировать значение I; однако здесь, очевидно, речь идет не от том, что голубь отдышался после состояния задыхания, а о том, что он чуть не умер – причем не от удушья, а от удара. Тем самым здесь связь с дыханием состоит только в том, что дыхание есть непереносное условие жизни, а прекращение дыхания означает смерть. Эту идею выражает, например, глагол *издохнуть* (букв. «испустить дух»), при этом его современное значение, как и значение глагола *отдохнуть* в примерах (2)—(6), не связано с дыханием. Таким образом, *отдохнуть* в приведенном примере означает что-то вроде «(снова начав дышать) вернуться к жизни (из состояния, пограничного между жизнью и смертью)»; будем называть это значение II.

Заметим, что говорить о восстановлении нормального дыхания можно в двух разных случаях: когда этому предшествует слишком интенсивное дыхание (как в случае быстрого бега или возбужденной речи – значение I) и, наоборот, задержка дыхания – как в случае обморока или другого пограничного состояния (значение II), а также страха и напряженного ожидания (значение III, см. ниже).

Приведем другие примеры реализации значения II:

- (3)...с одним нахалом казаком, которого за насмешки я хватил неловко по голове нагайкою... да, к счастью, он отдохнул [М. Н. Загоскин. Юрий Милославский, или русские в 1612 году (1829), *ruscorpora*];

- (4) *Лжедмитрий*. Мой бедный конь! (...) / Послушай, может быть, / От раны он лишь только заморился / И *отдохнет*. *Пушкин*. Куда! он издыхает. [Пушкин. Борис Годунов];

- (5) Я подумал, что дедушка умер; пораженный и испуганный этой мыслью, я сам не помню, как очутился в комнате своих двоюродных сестриц, как взлез на тетушкину кровать и забился в угол за подушки. Параша, оставя нас одних, также побежала посмотреть, что делается в горнице бедного старого барина. Мне стало еще страшнее; но Параша скоро воротилась и сказала, что

²⁹ См. об этом слове [Виноградов 1994: 71–76].

³⁰ См. в частности [Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д. 1993].

дедушка начал было томиться, но опять *отдохнул* [С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука (1858), ruscorgora].

Глагол *отдохнуть* в этом значении встречается также и в несов. виде (*отдыхать*) – но лишь в тривиальном (итеративном) значении, ср.:

(6) Итак, из всего мною сказанного следует заключить, что есть какие-нибудь другие условия, при содействии которых *дохнет* рыба под льдом, но что независимо от этих причин рыба *отдыхает*, если будет увеличено сообщение воды с атмосферическим воздухом [С. Т. Аксаков. Записки об уженье рыбы].

Значение, которое толкуется А. Б. Пеньковским как «восстановить душевные силы, успокоиться», также распадается на два. Действительно, приводимые им примеры типа (7) демонстрируют значение «восстановить душевные силы», оставшееся практически неизменным (см. значение V ниже).

(7) Но угорел в чаду большого света / И *отдохнуть* убрался я домой [Пушкин. Послание к Горчакову].

Однако другие примеры А. Б. Пеньковского соответствуют лишь второй части толкования («успокоиться»), и при этом его можно было бы сформулировать несколько точнее: что-то вроде «успокоиться, убедившись в том, что опасность миновала» (значение III), ср.:

(8) Целое утро провел он в волнении, чуть было не принял приезжего купца за секунданта и *отдохнул* только тогда, когда лакей принес ему письмо от Стельчинского [Тургенев. Затишье];

(9) Эй, смотри, сын! ей богу отделаю тебя батоном так, что до представления света будет болеть спина (...). Сказавши это, Бульба (...) поворотился на другую сторону и заснул. Андрий *отдохнул* [Гоголь. Тарас Бульба, ред. 1835 г.].

Здесь описывается ситуация, когда человек чего-то боится и при этом как бы «затаил дыхание», напряженно ожидая развязки. Когда он узнает, что опасность миновала, он как бы делает выдох, ср. *вздых облегчения*. Существует даже междометие *уф-фх* или *фу-уу*, имитирующее звук выдоха и выражающее в точности это значение («Пронесло!»). Ср.:

(10) – Фу, братец, как ты меня напугал, – проговорил Заруцкий, садясь на канаве, – насилу могу *отдохнуть* ъ! [М. Н. Загоскин. Вечер на Хопре (1834), ruscorgora];

(11) «Ей, может быть, нравятся цветы, верховая езда, невинные развлечения, а не сам граф? Да положим даже, что тут есть немного и кокетства: разве это не простительно? другие и старше, да бог знает что делают». Он *отдохнул*, луч радости блеснул в душе [И. А. Гончаров. Обыкновенная история (1847), ruscorgora].

Отличие употреблений типа (8)—(11) от (7) состоит еще и в том, что в (7) глагол *отдохнуть* описывает предельный процесс, а в (8)—(11) – моментальное событие; к аспектуальным свойствам этого глагола мы еще вернемся.

Близкое значение представлено и в следующей группе примеров с собирательным субъектом:

(12) Дума сделала для них то же, что Василий сделал для новошродцев: возвратила им судное право. Целовальники, или присяжные, избираемые гражданами, начали судить все уголовные дела независимо от наместников, к великой досаде сих последних, лишенных тем способа беззаконствовать и наживаться. Народ *отдохнул* во Пскове; славил милость великого князя и

добродетель бояр [Н. М. Карамзин. История государства Российского: Т. 8 (1815–1820), ruscorgora];

(13) Москва была освобождена Пожарским, польское войско удалялось, король шведский думал о замирении, последняя опора Марины, Заруцкий, злодействовал в отдаленном краю России. Отечество отдохнуло и стало думать об избрании себе нового царя [Пушкин. Конспект предисловия Ф. Н. Глинки к поэме «Карелия, или заточение Марфы Иоанновны Романовой»].

2. Значения глагола отдохнуть в XIX в

Итак, для XVIII–XIX вв. у глагола *отдохнуть / отдыхать*³¹ может быть выделен следующий набор значений (порядок их перечисления в целом соответствует ходу семантической эволюции):

I. "Восстановить дыхание, отдышаться" [пример (1), ср. также (14), (15)]:

(14) Я выпил стакан воды, сел, отдохнул и потом прочел следующее послание [О. М. Сомов. Приказ с того света (1827), ruscorgora],

(15) Я вспыхнул, схватил с земли ружье и, преследуемый звонким, но не злым хохотаньем, убежал к себе в комнату, бросился на постель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так и прыгало: мне было очень стыдно и весело: я чувствовал небывалое волнение. *Отдохнув*, я причесался, почистился и сошел вниз к чаю [Тургенев. Первая любовь].

II. «Не умереть, остаться живым» [примеры (2)–(6)].

III. "Успокоиться, убедившись в том, что опасность миновала" [моментальное неконтролируемое событие] [примеры (8)–(11)].

IV. "Вернуться к состоянию душевного покоя, которое было перед этим чем-то нарушено" [предельный процесс]. Источник нарушения покоя может быть назван и выражен именной группой с предлогом *от* (примеры (16)–(19)), но может и отсутствовать (пример (20)).

(16) Ты еще не *отдохнул* от вчерашних своих *впечатлений* [Ф. М. Достоевский. Слабое сердце (1848), ruscorgora],

(17) Ибо вы были свидетелями тех *поражений* неприятеля, от которых он доселе *отдохнуть* не может, и на собранные остатки свои со умилением взирая, естли что ко утешению находит, то сие, что имел щастие победим быть от Героев, не больше мужеством, как и человеколюбием прославленных [Платон (Левшин), архиепископ Московский и Калужский. Слово на новый 1771 год (1771), ruscorgora],

(18) У меня сжалось сердце от этих слов, – я только что *отдохнул* от дорожных *волнений* и своего первого детского *горя*, а тут приходилось все начинать снова [Д. И. Мамин-Сибиряк. Отрезанный ломоть (1899), ruscorgora],

(19) Везде виделись следы разрушения, нанесенного чугуном, следы убийства свинцом и железом. Достойная казнь измены! Но сердце *отдохнуло* от этих *ужасов*, когда мы обняли спасенных братьев своих [А. А. Бестужев-Марлинский. Письма из Дагестана (1831), ruscorgora],

(20) Сцены нежные в особенности противны в устах этого актера; его всхлипывания просто отвратительны. Слова: «Покойной ночи, королева»,

³¹ Имперфективный видовой коррелят *отдыхать* имеет собственное процессное значение только в лексических значениях IV, V и VI.

тихие, грустные, вовсе не злобные, были по обыкновению поняты и переданы «курьезно». В четвертом акте я *отдохнул* только, слушая музыку песен Офелии, где композитор понял глубоко если не Офелию Шекспира, то, по крайней мере, момент безумия и судьбу бедной девушки! [А. А. Григорьев. «Гамлет» на одном провинциальном театре (1845), *ruscorgora*].

V. «Восстановить физические и/или душевные силы (прервав или прекратив вызывающую утомление деятельность); избыть усталость» [предельный процесс]. См. пример (7), а также:

(21) Уже они достигли до пределов того государства, но стали отдохнуть, царица уснула, а проснувшись увидела Полкана мертва и подле него льва издыхающего [А. Н. Радищев. Бова (1798–1799)].

(22) Пришел домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти [Ф. М. Достоевский. Бедные люди (1846), *ruscorgora*].

(23) *Отдохни* хоть с недельку... [Василий Шукшин. Калина красная (1973), *ruscorgora*].

В современном русском литературном языке у глагола *отдохнуть* значения I, II и III исчезли;³² значение IV модифицировалось таким образом, что оно фактически слилось со значением V, которое было у глагола *отдохнуть* уже в XVIII в. и сохранилось практически неизменным до сих пор (ср. примеры (21)–(23)); для современного языка оно является фактически единственным стилистически нейтральным значением данного глагола.

Кроме того, появилось производное от V новое значение VI, о котором пойдет речь в разделе 6.

3. Об эффекте ближней семантической эволюции

Значение IV требует комментариев. Оно не сохранилось в современном языке: хотя сама конструкция *отдохнуть от чего-л.* широко распространена, она употребляется иначе и передает другое значение глагола *отдохнуть* (а именно, значение V). Сейчас мы говорим *отдохнуть от забот, от дел, от суеты, от шума, крика, ссор, скандалов*; а также *от семьи, от детей, от женщин, гостей, людей, от (какой-то) обстановки, от (какой-то) жизни, от пустых (умных) разговоров; от пьянства, от безделья*; можно также *отдохнуть от волнений, впечатлений, страстей, переживаний* ит. п., но нельзя (по крайней мере при стандартном словоупотреблении) **отдохнуть от ссоры с женой; от волнения; от впечатления* (произведенного вчерашним концертом) (или: *от вчерашнего концерта*), *от прочитанной лекции* и т. п. Между тем в XIX в. именно так и говорили – ср. примеры (16)–(19).

В некоторых случаях (а именно когда речь идет об усталости, наступившей в результате единичного действия) сейчас можно сказать *отдохнуть после чего-л.* (*лекции, экзамена, концерта*); имеется почти устойчивое сочетание *отдохнуть после обеда* (о котором см. ниже), ср. также *отдохнуть с дороги* – где, очевидно, представлено значение V. Однако, по-видимому, для современного языка все остальные перечисленные выше словосочетания также относятся к значению V, – которое предполагает факультативную валентность причины, выражаемую именной группой с предлогом *от, после* или *с*.

³² Ср., однако, такой пример, где можно обнаружить «след» старого значения – в форме присутствующей в том же предложении перифразы (*стал дышать ровню*): «Тут только Пик заметил, что с ним творится что-то неладное, дыхание вылетало у него из горла со свистом. Раня не были смертельны, но совиные когти что-то повредили у него в груди, и вот он начал свистеть после быстрого бега. Когда он *отдохнул* и *стал дышать ровню*, свист прекратился» [Виталий Бианки. Лесные были и небывлицы (1923–1958), *ruscorgora*].

В современном русском языке в конструкции с предлогом *от* то, *от чего* отдыхают, – это либо делящаяся, либо повторяющаяся ситуация (которая вызывает чувство *утомления*, возможно, именно своей повторяемостью). Но это не может быть единичное событие, в том числе единичное переживание – а в языке XIX в. это было возможно. Так, можно было *отдохнуть* от неприятного впечатления, которое произвело первое действие спектакля, во время второго действия, если оно оказалось лучше (ср. пример (20)); подобное словопотребление для современного языка не актуально.³³ И различие здесь касается не только референциального статуса объекта, но и семантики глагола *отдохнуть*, которая изменилась. А именно, в языке XIX в. *отдохнуть от чего-л.* означало «перестать находиться во власти некоторого негативного чувства или впечатления», а в современном языке это означает, приблизительно, «восстановить силы (прервав контакт с ситуацией, которая требует их расходования); быть снова полным сил», а это и есть значение V.

Утрата значения IV глаголом *отдыхать* – типичный пример ближней семантической эволюции, имеющей тот эффект, что говорящие ее вообще не замечают, автоматически подставляя новое значение вместо старого. Один из примеров тому – чеховское *Мы отдохнем!* финальная реплика пьесы «Дядя Ваня», ставшая крылатой. Буквально сказано: «в жизни будем тяжело работать, а после смерти отдохнем», что отсылает к русским поговоркам *Отдохнешь, когда издохнешь. Помрешь, так отдохнешь* [Даль 1994: II, 1875]. Однако, по-видимому, все же имеется в виду что-то другое (хотя бы потому, что проблема чеховских героев не в том, что они устали от тяжелой работы). Из текста предшествующего монолога следует, что *отдохнуть* здесь связано не с усталостью, а с унынием (антитезой для которого в христианской этике является *радость*), ср. *увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся*, (...) *Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди... Мы отдохнем...*. По-видимому, здесь имеется в виду значение IV в следующей его модификации: «вернуться к нормальному состоянию души, т. е. такому, когда она радуется». В современном русском языке глагол *отдохнуть* такого значения не имеет; приблизительно это значение выражается в русском языке сочетанием *отдохнуть душой*. Приведем еще некоторые примеры словопотребления (которое отчасти было маргинальным и в XIX в.), проливающего свет на значение обсуждаемой чеховской реплики (см. также пример (20)):

(24) Какие мгновения истинного блаженства я испытал в эти вечера, когда мы долго беседовали! Я *отдохнул* за весь холод, испытанный в моей жизни [А. И. Герцен. Кто виноват? (1841–1846), ruscorgora],

(25) Отдохнул с ними Бакунин за девятилетнее молчание и одиночество [А. И. Герцен. Былое и думы. (1866), ruscorgora],

(26) Скучая жизнью, томимый суетою, / Я жажду близ тебя, друг нежный, отдохнуть... (Пушкин. Позволь душе моей открыться пред тобою).

4. Направление семантической деривации

Остановимся теперь на проблеме направления семантической деривации, связывающей между собой перечисленные значения.

Диахронически исходным является значение I «восстановить нормальное дыхание», из которого параллельно происходят три производных значения глагола *отдохнуть*: значение II «[как бы снова начать дышать;] не умереть», т. е. возобновить физическую функцию дыхания как условие жизни; значение III «[как бы снова начать дышать после перерыва в дыхании, вызванного душевным напряжением (страхом);] успокоиться»; значение IV «[как бы восстано-

³³ Т. е. возможно лишь с элементом языковой игры.

вить нормальное дыхание после учащенного, вызванного душевным волнением;] восстановить душевное равновесие».³⁴

Что касается значения V, то оно является производным одновременно от IV и от I. Производность V от I хорошо видна, в частности, в примере (15) из Тургенева, где *отдохнул* означает одновременно «снова стал нормально дышать» и «перестал чувствовать волнение». Однако близость значений V и IV не менее очевидна; здесь скорее даже возникает проблема разграничения этих двух значений, ср. выше о выражениях типа *отдохнуть от волнения; отдохнуть после концерта*.

Таким образом, для основного значения глагола *отдохнуть* (*Ты устал, тебе надо отдохнуть*) следует признать наличие множественной семантической деривации, т. е. вопрос о том, что первично – «отдохнуть душой» или «отдохнуть телом», – не имеет однозначного ответа. Так, А. Б. Пеньковский, с одной стороны, пишет, что значение «восстановить душевные силы, успокоиться» является «переносом в ментальную сферу» значения «отдышаться, восстановить нормальное дыхание» [Пеньковский 2005: 88–89], т. е. здесь имеет место переход «отдыхать телом» → «отдыхать душой». С другой стороны, в семантической эволюции глагола *отдыхать* А. Б. Пеньковский усматривает трехступенчатый переход, который дает обратный результат: «отдышаться» → «успокоиться, восстановить душевные силы, отдохнуть д у ш о й» [разрядка моя.—А. З.] → «восстановить физические силы, отдохнуть телом» [Пеньковский 2005: 87]. Здесь хотелось бы сделать одно уточнение. Переход от «отдышаться» к «успокоиться», как уже говорилось, изначально, по-видимому, не был метафорическим переносом; однако, независимо от генезиса актуального значения глагола *отдохнуть* – и, очевидно, из-за утраты его связи с идеей дыхания, о которой пойдет речь ниже, – синхронно значение «отдохнуть телом» воспринимается как исходное, прямое, а «отдохнуть душой» – как производное, переносное. Таким образом структура многозначности этого глагола выравнивается под более стандартную.

5. Словообразовательная и аспектуальная семантика

Важные сведения о значении глагола *отдохнуть* могут быть получены путем реконструкции его внутренней формы, т. е. определения типа словообразовательной модели с приставкой *от-*, реализованной в этом слове, а также уточнения семантики производящей основы. К сожалению, в книге [Кронгауз 1998] глагол *отдохнуть* не интерпретируется, а анализ, предлагаемый в книге [Janda 1986: 202–203] представляется неубедительным.

На наш взгляд, картина приблизительно такова. Приставка *от-* обозначает исходно отделение-удаление (ср. сценарий «деления», предлагаемый для приставки *от-* в [Пайар 1997]). Имеется группа производных значений, где эта приставка обозначает «отделение от состояния», в котором объект находился до совершения действия, названного глаголом (и это состояние оценивается как негативное), ср. *отремонтировать*: объект стал нормально функционирующим, тем самым отделившись от состояния неисправности; ср. также *отредактировать*, *отшлифовать*. Другой пример — *оттаять*: объект был заморожен, путем таяния перешел в размороженное состояние, тем самым отделившись от своего прежнего состояния заморозенности.

Вариант той же модели – с постфиксом –*ся*, ср. *отоспаться*: при помощи процесса сна как бы отделиться от состояния недосыпания; то же — *отъестся* (это слово означает не просто что раньше человек голодал, а теперь ест достаточно, а что теперь он потолстел и таким образом как бы отделился от предшествующего состояния, когда он был худым). Аналогично устроен и глагол *отдышаться*, который описывает ситуацию, когда человек интенсивно дышит

³⁴ Здесь мы намеренно перифразируем толкования по сравнению с теми формулировками, которые были приведены выше, чтобы выявить отношения семантической производности; во всех трех значениях компонент, касающийся дыхания, реально может быть опущен: он отсылает к прототипической ситуации и связан с остальной частью толкования оператором «как бы».

и тем самым «отделяется» от состояния, когда он дышал затрудненно или не дышал вообще. Что же касается глагола *отдохнуть*, то здесь картина несколько иная.

Начнем с того, что в глаголе *отдохнуть* произошел сдвиг ударения: раньше ударение было *отдохнуть*. Об этом свидетельствуют, например, следующие строки из «Илиады» в переводе Н. И. Гнедича:

(27) Может быть, в брани тебя за него принимая, трояне
Бой прекратят; а данайские воины в поле отдохнут.

Ср. также цитируемую выше поговорку, которая во времена Даля читалась, очевидно, *Отдóхнешь, когда издóхнешь*. Глаголу *отдóхнуть* Даль дает такое толкование: «*отдыхаться, или отдыхать, отдóхнуть*: после обморока, удушного воздуха или утраты дыхания прийти в себя; (...) *смол, выздороветь*» [Даль 1994: II, 1875].

Примеры употребления глагола *отдóхнуть* можно найти и в XX в., ср.:

(28) Ну, тут он меня измучивал так, что у меня печенки с легкими перемешались – насилу *отдох* [Е. И. Замятин. Слово предоставляется товарищу Чурыгину (1922), *ruscorpora*].

Итак, *отдохнóть* происходит от *отдóхнуть*, а *отдохнуть* образовано от *дóхнуть*. Обратимся теперь к этому глаголу.

Этимологические словари славянских языков однозначно указывают на то, что глаголы со значением «дышать» имели также значение «дышать тяжело / шумно, задыхаться». Так, М. Фасмер в статье «*дохнóть, дóхнуть, вздох*» приводит следующие параллели: лит. *dusėti* «пыхтеть, задыхаться», лтш. *dust* «пыхтеть» [Фасмер 1996: I, 533]. Ср. также польск. *tchnąć* – «дышать», «тяжело дышать» [ЭССЯ: вып. 5, с. 177]; значение слов *душный, духота*. На наличие значения «задыхаться» у глагола *дóхнути / дышати* в древнерусском языке указывает, в частности, глагол *душити* («каузировать задохнуться»), исторически каузатив к *дышати*,³⁵ ср. также словенск. *dušiti* «den Atmcn benehmen, dem Ersticken nalie bringen» [Pletersnik 1894: I, 186].

В современном русском языке имеется два омонимичных суффикса – *ну*. при помощи суффикса – *ну1* образуются глаголы сов. вида с семельфактивным значением (ср. *зевнуть, махнуть, дунуть*); суффикс – *ну2* содержат глаголы несов. вида со значением приобретения или наличия признака (ср. *глохнуть, киснуть, мерзнуть*) [Ефремова 1996: 300–301]. Суффикс – *ну2* является безударным, – *ну1* – чаще бывает ударным, но может быть и безударным. Соответственно, в глаголе *дохнóть* фигурирует суффикс – *ну1*. а в *дóхнуть* *ну2*.³⁶ От глагола *дóхнуть* образовано прилагательное *дохлый* – букв. «задыхающийся, едва дышащий» (ср. *дохлый цыпленок*); ср. также *задохлик* «слабый, хилый, тщедушный человек».

В глаголе *отдóхнуть* реализовано основное непространственное значение приставки *от* «прекратить действие, названное мотивирующим глаголом, исчерпав возможность его продолжать» (ср. [Кронгауз 1998: 172]) – и таким образом «как бы отделившись» от него, ср. *отзвенеть, отцвести, отмучиться*. *Отдóхнуть* означает «перестатьдохнуть», т. е. «перестать задыхаться, восстановить нормальное дыхание»; тем самым, изначальная внутренняя форма этого глагола совершенно прозрачна. С течением времени этот глагол изменил как форму, так и значение, в результате чего современный глагол *отдохнóть* оказался вторичным образом связан с семельфактивным глаголом сов. вида *дохнóть*, что, естественно, привело к утрате исходной внутренней формы (в частности, суффикс – *ну*, став ударным, был переинтерпрети-

³⁵ Маргинальное значение «задыхаться» имеется у глагола дышать и в современном языке.

³⁶ Такая четкая дифференциация двух суффиксов – *ну* произошла относительно недавно; так, ударение в глаголе *отдохнуть* в XIX в. течение некоторого времени было вариативным (и это не влияло на его значение); и Фасмер, и Даль приводят оба варианта ударения глагола *дохнуть* в одной статье.

рован как – *нужу*, а сам глагол *отдохнуть* оказался в ряду глаголов однократного способа действия, см. ниже).

Отметим еще одну интересную аспектуальную особенность глагола *отдохнуть*, также проливающую свет на его семантику: сочетаемость с обстоятельством длительности (*полчаса, три дня, неделю* и т. п.), ср. примеры (22), (23). Нормально в русском языке глаголы сов. вида с обстоятельством длительности не сочетаются, ср. * *полчаса сделал уроки, прочел газету* и т. п. – что и неудивительно, в силу «точечности» значения сов. вида. Исключение составляют глаголы делимитативного, пердуративного и некоторых других способов действия (*полчаса погулял, проговорил* (по телефону), *отстоял* (в очереди)), а также несколько глаголов с суффиксом – *нул*: *вздремнуть, всплакнуть, прикорнуть, соснуть*, а также *отдохнуть*, см. [Всеволодова 1997: 25]. Назовем еще один такой глагол без суффикса – *ну. подождать*, ср. *Еще полчаса подождем и поедем обратно* (возможно, здесь дело в том, что глагол *подождать* отчасти выполняет функцию отсутствующего делимитатива **пождасть*). Причина такой нестандартной сочетаемости во всех этих случаях, по-видимому, состоит в том, что все эти глаголы непосредственно включают в свою семантическую структуру компонент «провести (таким образом) некоторое время»; относительно делимитативов и пердуративов это очевидно, ср. также толкование глагола *отдохнуть* в [МАС]: «провести некоторое время в отдыхе, восстановить свои силы отдыхом».

6. Дальнейшая семантическая эволюция

В целом можно сказать, что семантическая эволюция глагола *отдохнуть* обусловлена утратой связи с идеей *дыхания*. Концепт *отдыха* возник в русском языке на основе идеи нормального дыхания как свидетельства нормального физического и душевного состояния человека. Значение «восстановить силы путем прерывания деятельности, вызывающей усталость» (прототипически это пешее передвижение), возникшее в ходе семантической деривации не позднее XVIII в., связало концепт *отдыха* с предшествующей *усталостью*. Это значение является основным для современного русского языка: *отдохнуть* – это, прежде всего, «перестать чувствовать усталость». А усталость – комплексное состояние, включающее обычно как физическую, так и ментальную составляющую, в разных соотношениях.

Во второй половине XX в. семантическая эволюция поставила на первый план в понятии отдыха идею отсутствия обязанностей: отдых – это *не работа* (ср. *проводить на заслуженный отдых*, т. е. на пенсию). *Право на отдых* – одно из прав, провозглашенных советской Конституцией 1936 г. Понятие *отдыха* стало частью советского идеологического дискурса: возникло понятие *дом отдыха*, и даже *зона отдыха*, появилась категория *отдыхающие*,³⁷ возникло впоследствии иронически переосмысленное выражение *культурно отдыхать*.

Отдых в этом смысле не обязательно предполагает предшествующее состояние усталости и, более того, не исключает усталость как его результат: это может быть копанье грядок или игра в футбол, от чего у человека пот катит градом; ср. распространенную идею, что отдых – это смена деятельности; понятие *активный отдых*, высказывания типа *Я не понимаю, как можно часами лежать на пляже* и т. п.

В результате в разговорном языке у глагола *отдохнуть / отдыхать* возникла новая группа значений (обозначим ее как значение VI). Основное из них – «проводить выходной день или отпуск; не работать» (ср. устойчивое сочетание *отдыхать на даче*); вариант: «ездить в отпуск»; именно в этом последнем значении употребляется глагол *отдыхать* и существительное *отдых* в рекламе туристических компаний, ср. также употребления типа *Мы в этом*

³⁷ Так, например, на Истринском водохранилище в 60-е годы была построена «Зона отдыха трудящихся Ленинградского района» (включающая дом отдыха, ресторан, пляж, спортивную площадку и т. д.); соответственно, *трудящиеся* на время отпуска становились *отдыхающими*.

году отдыхали в Болгарии; Я в прошлом году вообще не отдыхала (скорее всего, это значит «никуда не ездила», а не «не уходила в отпуск»); Я уже отдохнул значит «в этом году уже съездил в отпуск» и т. д. Слова *отпуск* и *отдых* вступают при этом в паронимическую связь (ср. *летний отпуск / летний отдых; отдых на море / отпуск на море* и т. п.).

Едва заметный дальнейший семантический сдвиг дает третий вариант этого значения: "проводить свободное время, получая удовольствие", ср. устойчивое сочетание хорошо *отдохнули*. Например:

(29) Московский же азербайджанец после слов «хорошо *отдохнул* и» начинает долго и длинно перечислять список блюд и продуктов, из которых они приготовлены [Рустам Арифджанов. Москва азербайджанская // «Столица», 1997].

В отличие от нейтрального литературного значения V все варианты значения VI маркированы как разговорные или даже просторечные и частью русской интеллигенции отвергаются.³⁸ Причина этого неприятия состоит в том, что *отдыхать* в значении VI опирается на картину мира, в которой жизнь человека распадается на два состояния: утомительную *работу*, когда человек делает то, что он обязан, и приятный *отдых*, когда человек делает то, что ему хочется. Это представление традиционно не соответствует, в частности, картине мира русского ученого, ср. популярную в 60—70-е годы шутку, что научная работа – это удовлетворение своего любопытства за государственный счет. Поэтому, например, на совершенно естественный для многих людей вопрос «Ты ездил туда работать или отдыхать?» некоторые люди затрудняются ответить – из-за отсутствия в их картине мира того фрагмента, на который опирается использованное в данном вопросе значение глагола *отдыхать*.

Возможна и дальнейшая семантическая деривация. Например, этим же глаголом могут окказионально обозначаться сами занятия, обеспечивающие получение удовольствия (чаще всего: вкусная еда, алкоголь и секс); таким образом, глагол *отдохнуть* выступает в качестве косвенной номинации [Зализняк 1990] перечисленных ситуаций. Иллюстрацией этому может служить, например, следующее поразившее С. Довлатова употребление обсуждаемого глагола:

(30) Случилось это в Пушкинских Горах. Шел я мимо почтового отделения. Слышу женский голос – барышня разговаривает по междугородному телефону:

– Клара! Ты меня слышишь?! Ехать не советую! Тут абсолютно нет мужиков! Многие девушки уезжают так и не *отдохнув*! [С. Довлатов. Соло на Ундервуде].³⁹

Обращает на себя внимание наличие сходной структуры полисемии у глагола *гулять*.⁴⁰ (i) «быть свободным, не работать» (Я свой *отпуск уже отгуляла; взять отгул*); (ii) «пить алкогольные напитки» (*Люди уже гуляют*) и (iii) «иметь внебрачные сексуальные контакты» (*муж от нее гуляет; сестра гулящая, совсем пропащая*).

Глагол *отдыхать* имеет еще одно употребление, относящееся к классу «мещанских эвфемизмов» (термин Л. П. Крысина), при котором он означает «спать» (ср. *Мой супруг сейчас не может подойти к телефону, он отдыхает*). Слово *отдыхать* является конвенциональным и единственно возможным способом выразить значение «спать» в языке армейских уставов; поговорка *Солдат спит, служба идет* могла родиться только «на гражданке», потому что в

³⁸ Соответственно, некоторые носители языка фразу *Он отдыхает на даче* прочитывают как содержащую нейтральное литературное значение V, что вызывает ироническую реакцию типа *Как он наверное устал, бедняжка!* Аналогичная подмена происходит при реакции на глагол. *мыться* у людей, для которых нейтральным обозначением этой ежедневной процедуры является выражение *принимать душ*, ср.: — *Я помылся*. — *А что, ты был такой грязный?*

³⁹ Этим примером я обязана И. Б. Левонтиной.

⁴⁰ О глаголе *гулять* см. [Левонтина, Шмелев 1999].

армии солдат не *спит*, а *отдыхает*. Источником такого эвфемистического сдвига является словоупотребление, широко распространенное, в частности, в литературе XIX в., при котором глагол *отдыхать* имеет именно такое двусмысленное значение «лежать и, возможно, спать»; особенно часто встречается сочетание *отдохнуть после обеда*, ср. пример (31). Эта двусмысленность могла разрешаться контекстом в пользу значения «спать», ср. пример (32). На то, что глагол *отдохнуть* и в XIX в. уже мог восприниматься как эвфемизм, указывают кавычки в примере (33):

(31) После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел *отдохнуть* [Пушкин. Арап Петра Великого].

(32) Юрий, который от сильного волнения души, произведенного внезапною переменою его положения, не смыкал глаз во всю прошедшую ночь, теперь *отдохнул* несколько часов сряду [М. Н. Загоскин. Юрий Милославский, или русские в 1612 году (1829), гуссогора],

(33) Г-жа Миловидова ложилась спать тотчас после обеда – в два часа – и «отдыхала» до вечернего чаю, до семи часов [И. С. Тургенев. Клара Милич (1882), гуссогора].

Итак, семантическая эволюция глагола *отдохнуть* / *отдыхать* за последние два века состояла в том что:

- значения I ("отдышаться"), II ("не умереть"), III ("успокоиться, узнав, что опасность миновала") были утрачены;
- значение IV "восстановить душевное равновесие" модифицировалось и слилось с V;
- значение V "избыть физическую и/или душевную усталость" на протяжении двух веков сохранилось без изменений;
- появилось значение VI "проводить свободное время с удовольствием".

Эволюция глагола *отдыхать* продолжается на наших глазах – ср. *Жилищный кодекс отдыхает*, т. е. не применяется; *Лолита отдыхает*, т. е. кто-то другой ее превзошел, и т. п. Это значение VII, возникшее, очевидно, в результате семантического развития идеи «не работать» в значении VI; анализ данного явления, однако, выходит за рамки настоящей статьи.⁴¹

Список литературы

- Апресян В. К.), Апресян Ю. Д. 1993 — *Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д.* Метафора в семантическом представлении эмоций // *Вопр. языкознания*. 1993. № 3.
- Виноградов 1994 — *Виноградов В. В.* История слов. М., 1994.
- Всеволодова 1997 — *Всеволодова М. В.* Аспектуально значимые лексические и грамматические семы русского глагольного слова // *Труды аспектологического семинара филол. факта МГУ им. М. В. Ломоносова*. Т. 1. М.: Изд-во МГУ, 1997.
- Даль 1994 — *Даль В. И.* Словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1994.
- Ефремова 1996 — *Ефремова Т. Ф.* Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. М., 1996.
- Зализняк 1990 — *Зализняк Анна А.* *Считать и думать*: два вида мнения // *Логический анализ языка. Культурные концепты*. М., 1990.
- Кронгауз 1998 — *Кронгауз М. А.* Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика. М., 1998.

⁴¹ Я благодарна А. А. Зализняку и Н. В. Перцову, прочитавшим рукопись данной статьи и сделавшим ряд важных замечаний.

Левонтина, Шмелев 1999 — *Левонтина П. Б., Шмелев А. Д.* На своих двоих: лексика пешего перемещения в русском языке // Логический анализ языка. Языки динамического мира. М., 1999.

МАС – Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1999.

Пайар 1997 — *Пайар Д.* Формальное представление приставки *от-* // Глагольная префиксация в русском языке. М., 1997.

Пеньковский 2005 — *Пеньковский А. Б.* Загадки пушкинского текста и словаря. Опыт филологической герменевтики. М., 2005.

Урысон 2003 — *Урысон Е. В.* Проблемы исследования языковой картины мира. М., 2003.

Фасмер 1986 — *Фасмер.* Этимологический словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд., стер. М., 1986.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974—,

Janda 1986 — *Janda I.* A semantic analysis of the Russian verbal prefixes *za-*, *pere-*, *do-*, and *ot-* // *Slavistische Beiträge*. Bd. 192. Munchen, 1986.

Pletersnik 1894 — *Pletersnik M.* Slovensko-nemski slovar. Pjubljana, 1894 (reprint 1974).

А. Д. Шмелев

Врали и лжецы в русской языковой картине мира

В замечательном эссе «О „чердаках“, „вралях“ и метаязыке литературного дела („Евгений Онегин“, 4, XIX, 4–5)» [Пеньковский 2005: 115–152] были подвергнуты блистательному анализу известные пушкинские строки о «чердачном вралю». В нем А. Б. Пеньковский, среди прочего, показал, что правильное чтение этих строк невозможно без учета специфики употребления слова *враль* в пушкинскую эпоху, когда оно могло использоваться для обозначения двух различных психологических типов: легковесного, беззаботного и безответственного болтуна, адресующегося ограниченному кругу собеседников, и бездарного, безнравственного писаки, порождающего клеветнические тексты, рассчитанные на тиражирование. Однако ни к той, ни к другой разновидности *вралю* не подходят в качестве синонимов слова *лгун* и *лжец* (используемые для дефиниции слова *враль* в ряде современных толковых словарей), «неоправданно укрупняющие значение поясняемого слова, утяжеляющие его и наделяющие силой», которой оно не имело прежде и не имеет сейчас [Пеньковский 2005: 126].

Сказанное подводит нас к общей проблеме осмысления различий между членами словообразовательных гнезд с вершинами *лгать* и *врать*. Наличие в русском языке двух глаголов, обозначающих «говорение неправды», связано с некоторой противоречивостью отношения к «говорению неправды» в русской культуре, не ускользнувшей от внимания наблюдателей. С одной стороны, нередко отмечается, что русская культура чрезвычайно высоко ценит правду и предписывает говорить правду (*резать правду-матку в глаза*), даже если это может быть неприятно собеседнику. Этот взгляд решительно отстаивает Анна Вежицка, указывающая на то, что русской культуре чуждо понятие «белой лжи», или «социальной лжи», предписываемой во многих ситуациях англосаксонскими социальными конвенциями. С другой стороны, целый ряд авторов (как русских, так и зарубежных), напротив, считает, что русские во многих случаях более терпимо относятся к тому, чтобы говорить неправду, нежели представители многих других культур, в частности англосаксонской. Да и сама А. Вежицка в одной из своих работ писала о наличии в русской культуре установки на то, чтобы «извинить и оправдать ложь как неизбежную уступку жизненным обстоятельствам, несмотря на все великолепие правды», приводя в подтверждение характерную русскую пословицу: *Не всякую правду жене сказывай* [Вежицкая 1999: 281].⁴²

Сразу можно сказать, что глагол *лгать* (как и его производные) обозначает действие, безусловно предосудительное с точки зрения русской наивно-языковой этики. *Лгать* значит говорить неправду, зная, что это неправда, но желая, чтобы адресат речи думал, что это правда. *Лгуций* человек согрешает уже тем, что подсовывает адресату речи фальшивку, выдавая ложь за истину. Здесь существенно именно то, что имеет место сознательное введение в заблуждение: если люди «искренно принимают ложь за истину, то никто не признает их лжецами и не увидит в их заблуждении ничего безнравственного» (Вл. Соловьев). Кроме того, часто речевое действие, обозначаемое глаголом *лгать*, наносит ущерб третьим лицам, о которых *лгуций* человек распространяет лжесвидетельство, непосредственно нарушая тем самым девятую заповедь. Эта сторона дела отражена в производном глаголе *оболгать* (кого-либо).

Человек, который *лжет*, может быть назван *лжецом* или *лгуном*. Между этими двумя именами деятеля есть важное различие [Шмелева 1983], которое, однако, не препятствует тому, что и в том, и в другом слове ярко проявляется отрицательный оценочный компонент.

⁴² В. И. Даль приводит несколько иной вариант той же пословицы: *Не всякую правду муж жене (или: жена мужу) сказывает*. Приведем еще одну пословицу, содержащую аналогичную установку: *Хороша святая правда, да в дело не годится*.

Лгун представляет собою наименование лица по свойству, т. е. по характерному действию. Иными словами, *лгуном* обычно называют человека, который не просто единожды солгал, но который *лжет* постоянно, так что верить ему ни в коем случае нельзя – ср.:... *очень хорошо знали, что Ноздрев лгун, что ему нельзя верить ни в одном слове* (Гоголь). Понятно, что лгун часто вызывает негодование у того, кто с ним сталкивается. Ср.:...*он вспомнил эту тройку лгунов из отдела специальной техники. И тёмное бешенство обожгло ему глаза* (Солженицын). Если кто-то солгал один раз, это, вообще говоря, еще не делает его *лгуном*: «... если дитя солжет, испугайте его дурным действием, скажите, что он солгал, но не говорите, что он лгун. Вы разрушаете его нравственное доверие к себе, определяя его как лгуна...» (Герцен). Впрочем, иногда человека называют *лгуном* и на основании единичного акта лжи; чаще всего это выглядит как несколько стилизованный способ «заклеймить» *лгущего* – ср. известную цитату из «Мастера и Маргариты»: *За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!*

Но даже единожды солгавший человек компрометирует себя и может быть назван *лжецом*. Собственно, на этом и основываются различные методики «выявления лжеца»: *выявить лжеца* значит установить, что говоря нечто, человек *лжет*. Ср. замечание Андрея Битова: «убедительным тоном говорят именно лжецы», т. е. убедительный тон – свидетельство того, что говорящий *лжет*. А человек, *солгавший* дважды, оказывается *дважды лжецом* – ср.:...*за несколько минут я дважды в его глазах предстал лжецом* (Александр Бек). Иными словами, лжец может функционировать как актуальное или перфектное (результативное) имя деятеля, обозначение лица по единичному действию, и не случайно при отсылке к приведенному выше высказыванию из «Мастера и Маргариты» слово *лгун* часто автоматически заменяют на слово *лжец* – ср. пример из Национального корпуса русского языка: *Кто сказал, что при Сталине строили хорошо? Да отрежут лжецу его гнусный язык!* («Столица», 2 февраля 1997).

При этом существенно, что именование кого-либо *лжецом* также составляет весьма сильное обвинение; не случайно в церковном обиходе выражение «лжец и убийца» представляет собою иносказательное обозначение сатаны. Но и в повседневном употреблении слово *лжец* часто включается в сочинительные ряды, со всей очевидностью свидетельствующие, что даже однократная ложь преступна, напр.: *клеветники, лжецы и всякого рода изверги* (Гончаров).

Тем самым нет принципиального этического различия между *лгуном* (тем, кто постоянно *лжет*) и *лжецом* (тем, кто хотя бы раз *солгал*). Оба слова используются как клеймо нравственно порочного человека, а такие сочетания, как *милый лжец* (перевод названия пьесы Джерома Килти), воспринимаются по-русски как очевидный оксиморон.

Совсем иная нравственная оценка обнаруживается в глаголе *врать* и его производных. «По-русски *врать* значит скорее нести лишнее, чем обманывать» (Борис Пастернак). Характерен производный глагол *наврать*, входящий в ряд выражений, указывающих не столько на ложь, злонамеренно выдаваемую за истину, сколько на некоторую беззаботность по части правды: *наболтать, наговорить, наобещать, наплести с три короба*. Глагол *врать* не предполагает лжесвидетельства, и поэтому от него не образуется глагол **обоврать* (кого-либо). Если *лжет* человек всегда сознательно, то *соврать* он может по неосторожности, если скажет нечто, не подумав. Поэтому возможны такие обороты, как *не соврать бы; боюсь соврать; чтобы не соврать; боюсь, не соврать бы*. Используя эти обороты, говорящий дает понять, что хочет избегнуть легкомысленных и необдуманных высказываний, которые именно в силу своей легкомысленности и необдуманности могут отклониться от истины. Ссылаясь на свидетеля, который может подтвердить наши слова, мы иногда говорим, что такой-то *не даст соврать*. Разумеется, в этом обороте никак не выражено желание сказать неправду, от которой можно удержаться только в силу наличия свидетеля. Свидетель нужен для того, чтобы поправить невольную ошибку, от которой никто не застрахован. Сказав нечто, не подумав и

случайно ошибившись, можно исправиться, сказав *вру*, напр.: *Он живет на Пречистенке... вру, на Остоженке*. Поэтому оборот *соврать правду* (как в известной фразе из «Арапа Петра Великого»: *А дура-то врет, врет, да и правду соврет*) парадоксален только на первый взгляд. Действительно, человек, который говорит, не заботясь об истинности своих высказываний, не застрахован от того, чтобы сказать неправду, но может сказать и правду. Человек, который пытается никогда не *врать*, может восприниматься как чрезмерный педант, и с этой точки зрения возможен подход, оправдывающий *вранье*. Разумихин в «Преступлении и наказании» говорил: *...вранье всегда простить можно; вранье дело милое, потому что к правде ведет*. Далее он так развивал эту мысль: *Я люблю, когда врут! Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организмами. Соврешь – до правды дойдешь! Потому я и человек, что вру. Ни до одной правды не добирались, не соврав наперед раз четырнадцать, а может, и сто четырнадцать, а это почетно в своем роде; ну, а мы и соврать-то своим умом не умеем! Ты мне ври, да ври по-своему, и я тебя тогда поцелую. Соврать по-своему – ведь это почти лучше, чем правда по одному по-чужому; в первом случае ты человек, а во втором ты только что птица! Правда не уйдет, а жизнь-то заколотить можно; примеры были, – и резюмировал:.. хоть мы и врем, потому ведь и я тоже вру, да довермся же наконец и до правды, потому что на благородной дороге стоим...*

Готовность *врать*, не заботясь об истине, часто оправдывается тем, что *вранье* оказывается интереснее правды. Ср.: *...не желаю знать правду. Лучшие соврите, но подыщите что-нибудь менее банальное* (Леонид Юзефович). В этом случае *врущий* человек не преследует никаких корыстных целей, и такое *вранье* обычно не вызывает осуждения окружающих. Ср.: «Наиболее типичный случай *вранья* – это «художественное» *вранье* – игра воображения, вымысел, болтовня, не имеющая отношения к действительности. Такое *вранье* вполне невинно; в качестве цели оно преследует не личную *корысть*, а развлечение, потому что оно интереснее, забавнее, увлекательнее правды» [Апресян 2000: 226]. Характерны сочетания *красиво врать* и особенно *вдохновенно врать*, подчеркивающие эстетическую составляющую *вранья*. Такое *вранье* представляет собою своего рода «приправу» к правде, делающую правду менее «пресной», и для обозначения такого *вранья* используется специальный глагол *приврать*. Действие, обозначаемое глаголом *приврать* (ср. также выражение *приукрасить действительность*), в общем случае не вызывает осуждения, а иногда даже одобряется. *Всякая приписка хороша с прикраской*, – говорит пословица.

Бескорыстность «художественного *вранья*», делающая его даже чем-то привлекательным, иногда специально подчеркивается:

Русское *вранье* прежде всего нелепо. Говорил человек долго и хорошо и вдруг соврал: «А у меня тетка умерла». Соврал и сам изумился: тетка мало того, что не умирала, а через полчаса придет сюда, и все это знают. И никаких выгод от теткой смерти он получить не может, и зачем соврал – неизвестно... А то вдруг сообщит: «А меня вчера здорово побили». Тут уж совсем расчета не было *врать*: и не пожалеют, и еще, пожалуй, пользуясь предлогом, действительно побьют. Но он соврал и кажется даже довольным, что поверили. Я знал одного человека, который всю жизнь врал на себя; поверить ему, так большего негодяя не найти, а в действительности это был честной и добрейшей души человек. Врал он, не сообразуясь ни с временем, ни с пространством; врал даже тогда, когда истина сидела в соседней комнате и каждую минуту могла войти; врал, не щадя себя, жены, детей и друзей. Кто-то сказал раз, шутя, что он похож на бежавшего каторжника, и потом стоило большого труда удержать его от немедленной явки в полицию с повинной: так понравилась ему эта идея и так пылко он взялся за ее дальнейшую обработку... «А то уж очень пресно все, – говорил он. – Ну, что я? Банковский чиновник,

так, чепуха какая-то. И жена – чепуха, и дети – чепуха, и все знакомые – такая кислятина. А когда соврешь, как будто интереснее станет». – «Да ведь уличат?» – «Так что ж из этого? Пусть уличают, так и нужно, чтобы правда торжествовала».

(Леонид Андреев)

В этом отрывке отражена парадоксальность отношения к *врстью* в русской языковой картине мира. Действие, обозначаемое глаголом *врать*, может не быть морально предосудительным, поскольку не преследует корыстных целей: человек *врет*, потому что это делает жизнь интереснее. В то же время это никак не противоречит любви к *правде* и стремлению к тому, чтобы «правда торжествовала»; поэтому *врущий* человек вовсе не боится быть уличенным и может даже желать этого.

Такое отношение к вранью нашло яркое отражение в эссе «Нечто о вранье», вошедшем в «Дневник писателя» Достоевского. Приведем отрывок:

С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем не может быть неглущест человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства. Хочется произвести эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно – не случилось ли ему раз двадцать прибавить, например, число верст, которое проскакали в час времени везшие его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиления радостного впечатления в слушателе. И не обрадовался ли действительно слушатель до того, что тотчас же стал уверять вас об одной знакомой ему тройке, которая на пари обогнала железную дорогу, и т. д. и т. д. Ну а охотничьи собаки, или о том, как вам в Париже вставляли зубы, или о том, как вас вылечил здесь Боткин? Не рассказывали ли вы о своей болезни таких чудес, что хотя, конечно, и поверили сами себе с половины рассказа (ибо с половины рассказа всегда сам себе начинаешь верить), но, однако, ложась на ночь спать и с удовольствием вспоминая, как приятно поражен был ваш слушатель, вы вдруг остановились и невольно проговорили: «Э, как я врал!» (...) Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества – всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступает в таких случаях за правду и начинает вдруг сомневаться в числе проскаканных вами верст или в чудесах, сделанных с вами Боткиным. Но это лишь бессердечные и геморроидальные люди, которые сами же и немедленно несут за то наказание, удивляясь потом, отчего оно их постигло? Люди бездарные. (...) Мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным.

Здесь показательно то, что в целях «остранения» Достоевский первоначально использует глагол *лгать*, который делает возможным сопоставление мотивов, по которым лгут «в других нациях» и «лгут» в России. Утверждается, что «в других нациях» лгут «только одни негодяи»; поскольку лгут «из практической выгоды», т. е., как пишет Достоевский, «прямо с преступными целями»; а в России «лгут», чтобы произвести «эстетическое впечатление в слушателе», доставить ему удовольствие, приятно поразить или даже обрадовать его, для како-

вой деятельности и глагол *лгать*, содержащий резко отрицательную оценку, не очень-то подходит. И понятно, что, «с удовольствием» вспоминая произведенное «радостное впечатление», естественно употребить глагол *врать* (Э, как я *врал!*), а сказать Э, как я *лгал!* было бы решительно невозможно. Такое *вранье* не подлежит моральному осуждению, и претензии к нему могут высказывать только «правдивые тупицы», «люди бездарные». В отличие от *лжеца*, который подсовывает собеседнику фальшивку, выдавая ложь за истину, человек, занятый *художественным враньем*, действует в интересах собеседника; он стремится доставить собеседнику удовольствие и потому не особенно заботится о том, чтобы даже в мельчайших деталях педантично говорить только правду.

Характерно также выражение *деликатная взаимность вранья*, которую Достоевский называет «почти первым условием русского общества». *Деликатность* (которой в русской языковой картине мира придается особое значение) здесь состоит в том, чтобы не уличать собеседника во вранье, а напротив, самому принять участие в вольной беседе, когда никто не боится отклониться от «скучной и прозаичной» истины.

Однако если человек занимается «художественным враньем» постоянно, это может вызывать неодобрение, к таким людям, подобным Репетилову из «Горя от ума» или Ноздреву из «Мертвых душ», принято относиться скептически. Так, о Ноздреве сказано, что он, бывало,

... провретса самым жестоким образом, так что наконец самому делается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой масти, и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнесши: «Ну, брат, ты, кажется, уж начал пули лить».

О таком человеке говорят, что он *проврался* или *заврался*, и распространенная сентенция, адресованная ему, звучит: *Ври, да не завирайся* (или, как говорит Чацкий Репетилову: *Ври, да знай же меру*). Таким образом, распространенное отношение к «художественному вранью» таково, что *врать* можно, но в меру, нельзя *завираться*, как герой известного стихотворения Даниила Хармса «Врун», который, например, сообщал, что у его папы «было сорок сыновей». Реакция слушателей на такое *вранье* весьма показательна:

Врешь! Врешь! Врешь! Врешь!
Еще двадцать,
Еще тридцать,
Ну ещё туда-сюда,
А уж сорок,
Ровно сорок, —
Это просто ерунда!

Снисходительное отношение к *врстгю* не исчерпывается «художественным враньем». В повседневной жизни неизбежно также «бытовое вранье», когда человек говорит неправду, чтобы избежать каких-то неприятных последствий, которые могут возникнуть, если он скажет правду. В тех случаях, когда посредством *вранья* можно отвести опасность от третьего лица, *вранье* может даже оказаться морально предписываемым действием. Ср. эпизод из рассказа Василя Быкова:

... в окно постучали. Брата не было дома, за день до того поехал в деревню помочь матери с дровами да и прихватить кой-каких продуктов для двух городских сыновей. Леплевский открыл, в комнатушку ввалилось человек шесть энкавэдэшников, подняли жену брата с грудным ребенком, потребовали хозяина. Леплевский сказал, что старшего брата нет дома. «Где он, отвечай

быстро!» – приказал главный чекист с короткими, щеточкой усиками под ноздреватым носом. Леплевский некоторое время колебался, раздумывая, говорить правду или соврать. Но не стал врать, сказал честно, как было: брат в деревне, на днях должен вернуться. В деревне той ночью его и взяли. Но брал уже не тот с усиками, а местный уполномоченный Усов.

Потом много лет (до и после войны) Леплевский жалел, что сказал правду, может, надо было направить их по ложному следу – в Минск или в Витебск, пускай бы искали, теряли время. А самому предупредить брата, пусть сматывается куда-нибудь подальше. Некоторые в то время так и поступали.

Конечно, чаще при «бытовом вранье» человек обманывает собеседника из тщеславия или чтобы избежать наказания, не упасть в глазах собеседника, не испортить с ним отношений. Но, поскольку основная цель здесь не в том, чтобы подsunуть собеседнику «фальшивку», выдать ложь за истину, а в том, чтобы не причинять собеседнику неприятных эмоций или отвести от себя неприятность, то такое вранье часто не вызывает морального негодования, что и делает возможным употребление «мягкого» глагола *врать*.

Чаще всего к «бытовому вранью» приходится прибегать в разговорах с начальством и в любовных или семейных отношениях. Ср.:

Вот подлец! Умеет же соврать! Весь рабдень где-то шатался, а ловко так загнул – квартиру, дескать, он ремонтирует... (Евгений Попов);

Вранье – штука бытовая, я врал всю жизнь. Правда, только женщинам (Игорь Губерман).

Иногда отмечают, что мужчинам больше свойственно «бытовое вранье», а женщинам – «художественное вранье»:

Можно ли сравнивать крупную мужскую ложь, стратегическую, архитектурную, древнюю, как слово Каина, с милым женским враньем, в котором не усматривается никакого смысла-умысла, и даже корысти? (Людмила Улицкая);

Водораздел заметен еще в школе: мальчишки врут, чтобы избежать неприятностей, девочки – чтобы казаться интереснее. Взросление ничего принципиально не меняет: мужчины продолжают искажать реальность ради конкретной сиюминутной выгоды, а женщины – так, вообще, для красоты (Елена Ямпольская // «Неделя», 26 мая 2006).

Едва ли не самый типичный образец *вранья* являют собою дети, которые *врут* родителям, чтобы избежать наказания за какой-нибудь проступок. Родители обычно объясняют детям, что *врать* нехорошо, а детей, часто прибегающих к вранью, называют *врунами* (а совсем маленьких детей — *врунишками*). Слово *врун* может быть применено и к взрослому человеку, который постоянно прибегает к бытовому или «художественному» вранью. К человеку, которого называют *вруном*, обычно не испытывают негодования, но к нему не принято относиться всерьез.

Слово *враль* во многих отношениях близко слову *врун*, главное отличие заключается в том, что слово *враль* не применяется по отношению к детям (в частности, поэтому от него не образуются уменьшительные). Типичное отношение к *вральям* – снисходительное пренебрежение, не переходящее в негодование. Назвать собеседника *лжецом* – значит бросить ему тяжелое обвинение и, возможно, нанести серьезное оскорбление. Назвать собеседника *вралем* можно в рамках дружеского разговора. Все помнят, что Марина Цветаева в стихах, обращенных к Мандельштаму, называла его «гордец и враль», а Пушкин называл Н. Всеволожского «счастливец добрый, умный враль». Да и в ряде примеров, приведенных в цитированной выше статье А. Б. Пеньковского и иллюстрирующих использование слова *враль* по отношению

к тому, кто «врет пером», и глагола *врать* по отношению к сочинению стихов, явным образом отсутствует резко отрицательная оценка, которая предполагалась бы толкованием «бездарный писатель-клеветник». Когда Батюшков называет Державина «божественный стихотворец и чудесный враль» [Пеньковский 2005: 125] или пишет, что «сам Гомер врал шестистопными стихами от искреннего сердца» [Пеньковский 2005: 149], отрицательная оценка вообще сходит на нет; очевидно, что слово *лжец* было бы в таких контекстах невозможно.

Список литературы

Апресян 2000 — *Апресян В. Ю.* Неправда, ложь, вранье // Новый объяснительный словарь русского языка. Вып. 2. М., 2000.

Вежбицкая 1999 — *Вежбицкая А.* Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской культуры, 1999.

Зализняк Анна А., Шмелев А. Д. 2004 — *Зализняк Анна А., Шмелев А. Д.* Эстетическое измерение в русской языковой картине мира // Логический анализ языка. Языки эстетики: концептуальные поля прекрасного и безобразного. М., 2004.

Пеньковский 2005 — *Пеньковский А. Б.* Загадки пушкинского текста и словаря: Опыт филологической герменевтики. М.: Языки славянской культуры, 2005.

Шмелева 1983 — *Шмелева Е. Я.* Названия производителя действия в современном русском языке: словообразовательно-семантический анализ: Дис... канд. филол. наук. М., 1983.

А. С. Либерман

Тузик, его ложная англоязычная родня, а также нечто о потасовках и чертях

(К истории глагола *тузить*)

То немногое, что известно о происхождении слова *тузить*, суммировано в одном абзаце у Фасмера. Он называет и литературу вопроса, воспроизводит которую здесь нет надобности (я проверил все ссылки и убедился в их надежности). Вероятно, первым, кто предложил этимологию русского глагола *тузить*, был Даль (напомню, что его словарь выходил в 1863–1866 годах); *тузить* дано в конце статьи *туз*. К Далю присоединился Преображенский. Он говорит, что *тузить* – «без сомнения» деноминатив от *туз*, и поясняет: «Значение *бить*, термин в карточной игре». Исследователи употребляют фразу *без сомнения* лишь в тех случаях, когда сомнение имеется. Надо полагать, что и Преображенский, не имея веских доказательств своей гипотезы, инстинктивно прибегнул к риторическому усилению. Тузят друг друга кулаками, поэтому едва ли источником глагола, описывающего свирепую драку, послужил образ, заимствованный из карточной игры: бить тузом – это совсем не то же самое, что тузить. Фасмер называет слова из разных языков, включая санскрит, предлагавшиеся в качестве параллелей к славянским глаголам, но от подробного комментария воздерживается, так как, хотя и без уверенности, готов согласиться с Далем. Славянские же параллели – в украинском, белорусском и польском – сомнения не вызывают; несколько менее ясна картина в болгарском. Ниже я коснусь вопроса о неславянских соответствиях глагола *тузить*, но они связаны с интересующим нас вопросом косвенно. Я полагаю, что *тузить* заимствовано из нижненемецкого, и, следовательно, находки компаративистов в той мере, в которой они имеют в данном случае ценность, проливают свет на германский, а не на славянский материал.

На глагол *тузить* я натолкнулся в связи с этимологией англ. *bulldozer* «бульдозер». От *bulldozer* «задним числом» образовали глагол *bulldoze* «сгребать бульдозером», но гораздо раньше был писавшийся иногда через *s* глагол *bulldose* «шантажировать с применением насилия». Его употребляли, говоря о запугивании избирателей негров после Гражданской войны на юге США. Принято думать, что этот глагол в Америке и возник, но, как всегда в подобных случаях, более вероятно, что колонисты привезли его из Англии, где он употреблялся в каком-нибудь одном говоре и широкой известности не имел. Словари дают в качестве его первоначального значения «стегать плетью из воловьей кожи». И глагол *bulldoze*, и существительное *bulldozer* были впервые засвидетельствованы в 1876 году. Происхождение глагола и причина варьирования конечных *s* ~ *z* неизвестны (таково единодушное мнение), хотя едва ли задача неразрешима. Домыслы американских журналистов (они были высказаны вскоре после того, как *bulldoze* получило распространение, и приведены в «Оксфордском словаре»), будто *bulldoze* – это «доза», которая свалит и быка, – пример так называемой народной этимологии, тем более что *dose* «доза» никогда не произносилось со звонким концом.

В английском языке XVI века был глагол *dose* «ударить по лицу». Он сохранился в иных значениях, например «погружать в воду», смешавшись с *dowse* «искать воду при помощи волшебной палочки». В среднеанглийском известен его синоним *duschen*. Есть еще англ. *douse* «глухой удар». Скит выводит *dowse* ~ *douse* и *duschen* из скандинавского, и действительно они напоминают норв. диал. *dus a* «ударить со всей силы» и шведск. диал. *dus* «шум». В скандинавских языках слова с этим корнем регулярно означают пьяный разгул: ср. норв. диал. *s/y s a* «кутить». В немецком обнаруживаются схожие глаголы: средневерхненем. *tusen* и совр. диал. *dusen* «пьянствовать», а причастие *angeduselt* «под мухой» вошло в литературный разговорный язык (значение совр. нем. *Dusel* «удача» вторично). Если скандинавское слово не проникло в

английскую литературную норму из северных диалектов, где оно бытовало со времен походов викингов, то хронология (XVI в.) наводит на мысль, что оно нижненемецкого происхождения. Связь между *dowse* и *duſchen* не очевидна: они могли быть заимствованы в разное время из разных источников.

Скандинавские слова либо родственны нем. *dusen*, либо заимствованы из немецкого. И таково же происхождение глагола *тузить*: его этимон — *tusen*, нижненемецкий вариант верхненемецкого *dusen*. Здесь мы должны будем вернуться к карточной игре. В английском языке есть слово *deuce* «дьявол»; его омоним — *deuce* «два» в игре в кости и в картах. *Deuce* «два» восходит к старофранц. *deus*, а *deuce* «дьявол» — к нижненемецкому, в котором *wat de dims!* «что за черт!» точно соответствует англ. *what the deuce!* Английские словари утверждают, что *deuce* «два» и *deuce* «дьявол» взаимосвязаны. Предполагается, что игроки в кости восклицали в досаде *wat de dims*, когда им выпадало два. Едва ли это объяснение убедительно. Может быть, такой каламбур при виде неудачной кости и существовал, но *dims* «дьявол» — самостоятельное слово.

Дьявол имеет великое множество названий. Давно высказано предположение, что *dysa*, *dusa* и пр. связаны с голландск. *dwaas* «глупый». Сюда же относится англ. *dizzy* «испытывающий головокружение; глупый» (второе значение сохранилось только в диалектах; древнеангл. *dysig* означало «глупый; невежественный»). Видимо, *dis-* в подобных словах везде восходит к **dwis*; в древнегерманских языках /w/ регулярно выпадало перед /i/. Считается, что корень этих слов означал «дышать» (как в русск. *дышать*, *дух*, *душа*). Гораздо более вероятно, что речь шла не о дыхании, а о воздействии на людей потусторонних сил. В соответствии с давними верованиями, мир был населен существами, которые насылали болезни и отнимали разум. Они мыслились в виде множеств, и в германских языках слова для них часто употреблялись во множественном числе среднего рода. Антропоморфизация этих существ — самая поздняя стадия в их развитии. Богам, эльфам и прочим сверхъестественным силам приписывались все беды — от болей в пояснице до безумия. При этом отсутствовала четкая грань между физическими и душевными недугами. Например, замедленный рост считался болезнью духа, а не тела. Если моя этимология германского слова *dwerg-* «карлик» верна, то его протоформа — **dwesk* и оно родственно голландскому прилагательному *dwaas* и его соответствиям в древнеанглийском и древнемецком. «Дверги» (карлики) оглупляли, помутняли сознание; отсюда *dizzy*. Сходное зло ожидалось от богов и эльфов: англ. *giddy* «испытывающий головокружение» (синоним *dizzy*) того же корня, что *god* «бог», а древнеангл. *ylfin* означало «помешанный». (Поэтому я не разделяю всеобщего мнения относительно этимологии слова бог: от богов ждали не даров, а напастей; русск. *бука*, англ. *bug* «пугало» и пр. ближе к первоначальной идее бога, чем «осыпающий милостями»; связь с богатством у славянских и иранских слов вторична, как у нем. *Dusel* «удача». Встреча с богами сулила не благо, а одержимость, как свидетельствует история слова *энтузиазм* из греческого.) Нем. *duus*, если оно восходит к **dwiuus*, — это собственно не черт, а некто, отнимающий способность управлять собой: отсюда усыпление (ср. англ. *doze* «дремать», которое заимствовано из скандинавского или нижненемецкого), опьянение, глупость и безумие.

Трудно сказать, каково исходное значение корня **dwes-* и его вариантов, иногда соответствующих законам аблаута (**dwas-*), иногда неожиданных (**dwius-*). Быть может, этим значением было «ударять». Испытавший удар от высшей силы терял разум, бесновался, вел себя как пьяный или засыпал. Высшая сила называлась *dwas-*, *dwes-k-* и т. п. От значения «удар» произошло «бить» и «драться», которое сохранилось в немецком глаголе *diisen* ~ *tusen*. Он и был заимствован рядом славянских языков, в том числе русским (*тузить*) и английским. Санскритские и прочие далекие слова, приводившиеся в связи с историей славянских глаголов, не имеют отношения к делу, поскольку в них отсутствует /w/ после /t/ и поскольку нужны соответствия, начинающиеся с /d/. Происхождение литовских глаголов (они названы у Фасмера)

менее ясно. Тоже из немецкого? Англ. *deuce* – ближайшая родня герм. **dwes-k-*, Изначально карлики, о которых многое известно из скандинавских мифов, не были маленькими; такими они сделались в позднем фольклоре. В мифах их функция состояла в том, чтобы изготавливать богам волшебные мечи, корабли и разные другие предметы, без которых те не могли бы управлять миром и сражаться с великанами (силами хаоса). Но еще раньше они вместе с богами и эльфами (их иерархия уже невосстановима) витали вокруг смертных и насылали болезни.

Русск. *туз*, возможно, заимствовано из польского (Фасмер). В польском оно из средневерхненемецкого *tus ~ dus*, а туда оно попало из французского. Более подробно, чем у Фасмера, история слова *туз* изложена у Черных, который разъясняет, почему туз связан с двойкой. Как полагают (говорит Черных), первоначально (также и в России) туз был двухочковой картой в отличие от «аса». «Впоследствии одноочковый туз (*ас*) перестал отличаться по названию от двухочкового и двухочковый туз был ликвидирован. Немецкое название карты попало в русский язык при западнославянском (чеш[ском], польск[ом] посредстве)». Статьи *тузить* в словаре Черных нет. Видимо, этимология Даля не удовлетворяла его. В любом случае, связь между *туз* и *тузить* не прослеживается, хотя оба их этимона представлены в немецком, но *tusen* – германское слово, а *tus* – романское.

В качестве аналогии к истории глагола *тузить* можно привести историю русского существительного *дроля* и его славянских соответствий. Говорящие по-русски знают *дроля* преимущественно из частушек. В ЭССЯ 5 (124–125) этой группе слов посвящена довольно подробная статья и предложена маловпечатляющая этимология. Только в русском *дроля* имеет положительный, хотя и несколько иронический смысл «ухажер; милый» (ирония связана с жанром частушки, да и женский род не прибавляет дроле серьезности). Как показывает материал ЭССЯ, в других славянских языках родственные слова могут, среди прочего, означать «потаскуха» и «сброд». Норв. *Drolen* «дьявол», нем. *Trulle* и англ. *trull* «шлюха» – вот среда, которой принадлежат данные славянские слова. В германском ареале они связаны со словом *тролль* (*troll*). Тролли не мыслились как чудовища огромного роста. Они и в современном шведском фольклоре неотличимы от людей (тем и опасны). Говоря о троллях, мы прежде всего вспоминаем Скандинавию, но слово *тролль*, скорее, немецкого происхождения. Беспорядочное чередование начальных /d/ и /t/ в этой группе то же, что в *dusen ~ tusen*. *Troll*, видимо, звукоподражательное слово. Судя по некоторым устным рассказам, записанным в наше время, троллей связывали с громом. Таким образом, и *дроля*, и *тузить* заставляют нас обратиться к немецкой дьяволиаде.

Мне не попадались работы, где бы объяснялось происхождение имени *Тузик*. Состояние нашей библиографии таково, что специалист по германской этимологии не может в деталях знать специальной литературы по славянским языкам. Фасмер *Тузика* не упоминает. Представляется, что *Тузик* – это драчун, «тузила». У Даля есть *туз* «игральная карта об одном очке», *туз* «удар кулаком» (которые он, если справедливо сказано выше, объединяет ошибочно) и *тузик* или *тюзик*, название игры: «кляп, по коему бьют налету палкой». Не разделив *туз* «карта» и *туз* «удар», Даль замечает об игре: «Может быть другого корня». Невероятно, чтобы *туз* «удар кулаком» и *тузик* «кляп, по которому бьют палкой» были произведены от разных корней. Какое-то родство должно быть и между обоими *тузиками*. У российских собак всегда были иноземные имена, порой замаскированные домашними суффиксами. Моська, кажется, – уменьшительное от *монс* (из немецкого), а о всяких Рексах и Альмах и говорить не приходится. Даже дворняга Жучка, и та от французской Жужу.

Английский глагол *touse* "рвать; ерошить" (часто в описании действий собаки), у которого есть надежные соответствия в других германских языках, имеет старое /t/ и случайно похож на *douse* "бить". *Towser* – распространенная кличка больших собак, которых обучали травить медведей и быков. В речи *touse* и *douse*, довольно близкие по значению, могли смешиваться еще и потому, что *bulldoze* это «стегать быка». Стегать быка и разъярять его на потеху

публике – разные вещи, но сферы применения глаголов сходны. Соответственно, *Towser* не родня *Тузику*, но с языковой точки зрения нечто общее между ними есть.

Многие годы А. Б. Пеньковский исследует русскую лексику XVIII и XIX веков, и его скрупулезный анализ осветил сотни слов с их незаметными переливами значений. Исследование нередко заводит его в дебри французского, немецкого и английского языков. А до этого он пристально всматривался в лексику русских диалектов. Мой скромный этюд, не снабженный примечаниями и ссылками, не продвинет его изысканий языка пушкинской поры, но может доставить ему минутную радость, ибо проникнут его духом и родился из той любви к слову, без которой немислима филологическая наука.

Список литературы

Даль – *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Оксфордский словарь – *The Oxford English Dictionary*. 2nd ed. Oxford, 1992. Преображенский — *Преображенский А. Г.* Этимологический словарь русского языка. М., 1959.

Скит — *Skeat W. W.* An Etymological Dictionary of the English Language. 4th ed. Oxford, 1910. Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Черных — *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1993.

ЭССЯ 5 – Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд. Вып. 5. М., 1978.

В. Айрапетян Толкуя слово.⁴³

Из дополнений (2002—08)

г411: Себе на уме. Из аналитического *думать себе на уме* с двойным усилением, например в сказке *И думает себе на уме*:– после *Но сын и думает на уме*: – и *Он и думает на уме*:– (Р. сказка, 21), у Мельникова-Печерского *Поваляться архиерею в ноги да в голос и завопят*:–*А сами себе на уме*: «*Не обманеши, дескать, нас*» (В лесах, 2.12), где уже опущено *думать*, получается (*сам*) *себе на уме* кто «скрытный, хитрый», например в пословице *Немогузнайка себе на уме* (ПРН, с. 661) – не говорит что думает. Ср. Пеньковский в Этим. 2000—02, с. 177—87 = Очерки семант., с. 293–307.

д332: Герменевтический подход. Герменевтика (ἐρμηνευτική от «толковать», субстантивированное прилагательное к τέχνη) это умение—знание как надо—способность сказать (в ответ) как надо—толковать. А толковать как надо, или правильно, значит отвечать на вопросы о значении значимого, прежде всего слов, но и другого «говорящего», на его языке и в его духе. Герменевтика отличается своим гуманитарным подходом, ответственностью за предмет толкования и перед ним как собеседником, а по предмету различаются виды толковательного умения-искусства-науки. Для филологической герменевтики значимое слово это сам говорящий, ср. у Флоренского и Мейера;⁴⁴ для Бахтина слово всегда человек.

б1413: Матушкин сынок. Дурак—*матушкин сынок/запазушник, бабин (сын)*, есть пословица «Что ни дурень, то и бабин», сюда же «Бабы басни, а дурак то и любит», «Где дуракова семья, тут ему своя земля» (ПРН, с. 383, 437 и 326; Кн. поел., с. 50 и 55), про дурня-бабина анекдот АТ 1696 Набитый дурак в Сб. Кирши Дан., л. 89сл., ср. НРС, 403сл.; у Лермонтова: «Да, дурачина, кто ты таков? – А почему я знаю... говорят, что мачкин сын...» (Вадим, 24). «Всяк бабин сын» (ПРН, с. 844) по природе, но остается *матушкиным/маменькиным сынком* себялюбивый баловень, младший или единственный сын или безотцовщина. «Меньшой сын на корню сидит» – наследует отцовский дом и остается с матерью, «Отца своего я не знал... я... понимаете, только сын своей матери.» – Лесков, «—на этот счет была вся в меня» – так о матери эгоцентричный подросток Достоевского, тоже *материн сын* (ПРН, с. 171 и 578; Смех и горе, 55; Подросток, 3.1.3; СРНГ 18, с. 24), еще см. Кабакова в Жив. ст., 1994, № 4, с. 34–36, Дитя природы и в Слав. др. 3, с. 203—08. Герой волшебной сказки и антигерой *набитый дурак*, а в анекдоте НРС, 396 дурак даже убивает мать, ср. 395. Сюда и трагический герой Эдип, в фольклорном толковании (но не как у Проппа, Эдип фольк.) «эдипов комплекс» свойствен матушкину сынку. ▼1: Три прозвища мужчины —2: Перекрестное сходство—3: *Просвириин сын*. — 4: «Младший сын Громовержца».

б2511: Большое «я». Правило «Если никто другой, то я сам» и правило «Если никто в отдельности, то все свои как один», или «Если не мирянин, то мировой человек», сходятся в правиле инакости «Если (и только если) никто, то иной» когда «я» это все как один, или мировой человек. Большое «я» мирового человека и есть первичное «я», ср. *свое-родовое* по Трубачеву – Этногенез, 2сл. *Юноша Я-мир* Хлебникова; Уитмен. У Пришвина в дневнике под 1.4.1914:

Неопытному человеку может показаться, будто я действительно о себе это пишу, – о себе как есть – нет! нет! это «я» мое – часть великого мирового

⁴³ В. Айрапетян, Толкуя слово: Опыт герменевтики по-русски, Москва 2001.

⁴⁴ Выдержки в б412. ▼1: Антигерменевтический подход

Я, оно может свободно превратиться в того или другого человека, облекаться тою или иною плотью.

Это Я – вершинная линия, проведенная над бесчисленными «я» всяких ямок, долин, горюшек, пригорков. Это Я уже было, когда я маленький родился на безлесной равнине черноземной полосы...

Топоров об индоевропейской парадигме *я—меня* как синтагме "вот же здесь **men-*", от этого корня *мнить, мысль, мудрый, муде, муж*, индийский первочеловек *Ману* и германский *Мани*⁴⁵ (но ср. Либерман, Маннус), сюда же большевицкая начальственная формула *есть мнение*. Когда мирянин говорил «я», это сперва было представительство, а нынешнее умаленное «я» уже не желает кого-либо представлять (например у Наймана⁴⁶). Цадик Аарон из Карлина: «я» подобает одному Богу (в буберовском собрании) – мифологическое отчуждение большого «я» по правилу «Если никто из своих, то чужой» в ответ на его присвоение мирянином, заговорившим от себя. Еще см. Григорян о «большой самости» в ПВТЧ, с. ЮЗсл.

63132: Три инакости: единичная самость каждого «я», единая другость всех своих как одного и единственная чужость чужого. Тройкое правило инакости «Если (и только если) никто, то иной», состоящее из правила самости «Если никто другой, то (я) сам», правила другости «Если никто из нас порознь, то все вместе» и правила чужести «Если никто из своих, то чужой», ср. поговорки *ни в мать ни в отца, а в проезжего молодца* и *ни в мать ни в отца – сам в себя молодца* (ПРН, с. 748; ППЗ, с. 138). Три дурака: я сам,⁴⁷ все свои вместе⁴⁸ и чужой.⁴⁹ Триада: самость думает, другость говорит, а чужость делает, например Иван Карамазов, Митя и убийца Смердяков, но и бог-творец. Три монизма: солипсизм, «монантропизм» (Вяч. Иванов) И монотеизм.

63433: Дерево и река. Растение и поток, рост вверх и течение вниз, ср. *утёк* «убежал», *бросился наутёк*. Корни и истоки, эти два образа начал совмещены в роднике из-под дерева. Сводимость толкуемого слова вглубь к смысловым корням языка, она же возводимость против течения к фольклорным истокам речи. Гора и долина, *горé* и *долу*, боги Перун и Велес (о них см. хотя бы Трубачев, Этногенез, с. 428—30 = ТЭ 2, с. 437—40), Какое дикое ущелье! Тютчева; у него же человек как лист и как льдина – На древе человечества высоком и Смотри, как на речном просторе. Рост и падение, возрастание и убывание, возвышение и упадок. Поговорка *было, да (на низ) сплыло* – стояло-росло, да сошло на нет как по реке, ср. *сплавить, лесосплав*, сюда же *Быль – трава, нёбыль – вода, Что было, то сплыло, Было, было, да на низ поворотило*, но и *было, да быльем поросло, (Наше) былое быльем поросло* (ПРН, с. 299, 186 и 196; к *быль, быльё: быть* – ЭССЯ 3, с. 149сл. и 155), у Мельникова-Печерского *Всё это было, да давно и сплыло, а что не сплыло, то быльем поросло*. (В лесах, 1.10), а еще *Это было давно и неправда*. Возвратное родовое и поступательное личное, устойчивое круглое число и разовое точное, фольклор и литература, толкование и перевод, верность и предательство, постоянство и изменчивость, застой и прогресс-упадок.

VI231: Мигание. Толстой, Дьявол:

– Приходи в шалаш, – вдруг, сам ие зная как, сказал он. Точно кто-то другой из него сказал эти слова.

Она закусила платок, кивнула глазами и побежала гуда, куда шла—

⁴⁵ Отсылки в вб12.

⁴⁶ Приведено в в2511.

⁴⁷ См. 61277.

⁴⁸ См. 6141 и 1412.

⁴⁹ См. 634315.

(16) – прикусила платок вместо языка, молча мигнула в знак согласия, то есть подала не головой, а одними глазами мгновенный (*мигать: миг, мгновение*) заговорщицкий знак, и заспешила. Такое мигание/моргание возможно происходит из непроизвольного моргания, свойственного и животным, при встрече со взглядом другого (о взгляде Бутовская и соавторы, *Обнаж. языка*, с. 56–59). Под пристальным, немигающим взглядом сильный слабый моргает, отводит глаз(а), отворачивается. Производно от жеста мигания более нарочитое подмигивание одним глазом, о нем Моррис в *Говор, телом*, с. 50, и *Сл. жестов*, с. 91сл., сюда же приветственно-согласный кивок и всё более почтительные поклон, коленопреклонение, простираение ниц; подставление в знак покорности.⁵⁰ Индуистские боги не моргают в отличие от человека и животных, см. хотя бы Ригведа, 10.121.3, и Махабхарата, 3. 54.21–24, немигающие бессмертные призраки есть в *Rosa alchemica* (4) Ейтса, а у Ницше, Так говорил Заратустра, моргают «самые презренные существа» – «последние люди» (1, Предисловие Заратустры, 5). Всевидящий бог, ср. «всевидящее око», и моргающий, жмурящийся «смертный», ср. диалектное *жмурик* «покойник» (СРНГ 9, с. 206) или игру в жмурки. К этой игре Топоров, *Интерпрет. детских игр*, с. 77–80; к гоголевскому Вию с его «Подымите мне веки» Иванов, *ИТСИК 2*, с. 68–104. Недостаточно О моргании *Сл. жестов*, С. 56–58. "См. в643. Т1: Невидящий.

г5331: Потевня против обращения метафоры (Зап. теор. словесн., с. 261):

Рассуждение Аристотеля об обоюдной замене членов пропорции в метафоре было бы справедливо, если бы в языке и поэзии не было определенного направления познания от прежде познанного к неизвестному; если бы заключение по аналогии в метафоре было лишь бесцельною игрою в перемещение готовых данных величин, а не серьезным исканием истины.

В действительности такая игра в перемещения есть случай редкий, возможный лишь относительно уже готовых метафор. Нужная, стало быть единственно хорошая метафора вытекает всегда из случая, который у Аристотеля является как бы исключением, именно когда (говоря схематически) дана пропорция с четвертым членом неизвестным: $a : b = v : x$, --

– Потевня восстанавливает ту познавательность, за которую ценил было метафору Аристотель (*Риторика*, 1410b) пока не превратил ее своим требованием обратимости в риторический прием.

д2132: Толкователь как молчальник, ведь он взялся говорить не от себя; своим произволом толкователь нарушает обет герменевтического молчания. Как полная луна ночью служит земле зеркалом невидимого солнца, а сама не светит, так толкователь в глухое время служит слушателю эхом неслышного мирового человека, а сам не говорит. Это и есть «непрямое говорение» по Бахтину. Ср. «Гермес пришел» и другие присловья про внезапное общее молчание.⁵¹

д3321: Антигерменевтический подход. Последствие предельно антигерменевтического подхода изображено в рассказе Шекли *Задай дурной вопрос* (заглавие пословичное⁵²) об искусственном космическом Ответчике, который «мог ответить на всё, лишь бы это был признанный вопрос». Этот Ответчик-всезнайка бесполезен, догадываются прилетевшие к нему люди: «Он не может отвечать на вопросы в терминах наших допущений, – И он не может изменить наши допущения. Он рассчитан на правые вопросы, а те вроде бы привлекают знание, какого у нас просто нет.» Сюда же «марсианский» взгляд у Берна и «точка зрения Бога» (Битов) у Льва Толстого.⁵³ – Ответчику нужен Вопросчик в духе Сократа, кто бы его разговорил.

⁵⁰ См. в643. ▼1: Невидящий

⁵¹ Примеры в г71.

⁵² См. а12 и 123.

⁵³ См. д547 и 63181 с прим.

д5462: Русский рост. Европейский, иудейско-христианский безоглядный прогресс, по происхождению кочевничье, мужское, животное, материковое движение вперед по пути, и русское, «языческое» возвратное развитие, по происхождению оседлый, женский, растительный, островной рост вверх на месте. Pilgrim's Progress Баньяна, но «вечное возвращение» Ницше; неоплатонические *πρόδος*; "поступание и ἐπιστροφή «возврат». «Переводчики – почтовые лошади просвещения», а «у нас дороги плохи» (Пушкин), к русскому бездорожью Щепанская, Культ, дороги, с. 35–37. Битов об «островном сознании» в России.⁵⁴ Греческий Архипелаг включая Пелопоннес, т. е. «Пелопов остров», ср. Остров Крым Аксенова, и советский *архипелаг ГУЛАГ*, тут значимое созвучие. Русский человек, сказал уязвленный «возвращенчеством» Георгий Федотов, «всё еще слишком похож на растение» (Тяга в Россию),⁵⁵ Кюстин о крепостных как растениях – Россия в 1839-ом, 10, 17, 32 и 35. *От-сталость, за-стой, стое-росовый, домо-рощеньый*. У прогрессиста Чаадаева Китай «неподвижный», ср. даосское «недеяние». *у-вэй*, но оно «путное». А Щепанская начинает с того, что русские «движущийся этнос с самосознанием оседлого» (с. 8), одним словом перекаати-поле; русская возвратно-поступательная двойственность. Биbihин, Новое русское слово, 7, о русских начинаниях. Развитие и прогресс по К. Леонтьеву в Византизме и славянстве, бсл.

д5832: Лицом к лицу человек человеку зеркало. У селькупов есть поверье, что «В лице человека или на морде зверя отражается образ того, с кем этот человек или зверь общался недавно—» – Казакевич, Культ, фразеол., с. 316, ср. охотное усмотрение жены в муже или собаки в хозяине. Ницшевское (Так говорил Заратустра, 1, гл. О друге) «Что такое лицо твоего друга? Оно – твое собственное лицо на грубом, несовершенном зеркале.»⁵⁶ два живых зеркала у Вяч. Иванова, отражающих и исправляющих одно другое (Спорады, 5сл., и Религиозное дело Владимира Соловьева, 6 – ИСС 3, с. 125, 130сл. и 303), и *Друг друга отражают зеркала, взаимно искажая отраженья* Георгия Иванова. Бубер о жизни как встрече,⁵⁷ Ухтомский о «доминанте на лицо другого», Мейер (МФС, с. 390сл.) о множественности лиц. Когда предмет моей речи и мысли мой адресат и собеседник, он это другой я; отсюда «Это ты», «Я это ты».⁵⁸ Но лицо соотнесено с задом и может им подменяться как книги картами в поговорке *и карты в руки кому*.⁵⁹ слово *ягодицы* перешло со щек, скул (*ягодицы как (бы) маков цвет* – Сб. Кирши Дан., л. 17) на половинки зада, человека могут обозвать *жопой* или показать ему зад (к этому жесту Моррис, Говор, телом, с. 15), есть и коровье *зеркало* «задняя поверхность окоровок» (СВРЯ).

д6211: Сократ и герменевтика. Сократ, иронический говорун и недушевный духовный человек, вот первый европейский интеллектуал. После его наводящих, но сбивающих с толку вопросов, особенно после антигерменевтического разговора с рапсодом и толкователем Гомера Ионом (Платон, Ион) герменевтика стала нужна как равносильный ответ Гермеса этому философскому *Незнайке-немогузнайке*, кто себе науке (ПРН, с. 661) и чей *демоншон*,⁶⁰ будущий пушкинский «дух отрицанья, дух сомненья», потом чёрт Ивана Карамазова, говорил лишь «Не надо». Внутренний голос, давший Сократу взыскательную, разборчивую, по-спартански строгую *меевтику* знания путем наводящих на догадку вопросов («наведение», индукция), или диалектику, то есть философскую эвристику, шел от его матери-повитухи Фенареты (судя по Теэтету, 148e—5Id, ср. в Пире, 208e—10d, Диотима о «родах души»; единство рождения и

⁵⁴ Приведено в в565.

⁵⁵ Полнее приведено в б141 и 3432. ▼1: Биbihин о русских начинаниях

⁵⁶ Перевод Антоновского.

⁵⁷ Приведено в в447.

⁵⁸ Примеры в д5722.

⁵⁹ См. а15 с прим.

⁶⁰ Отсылки в г74.

знания в индоевр. **ǵen*-⁶¹), а матушкин сынок и незнайка сам не толкует, он спрашивает знайку. Своими трудными вопросами о бессознательном «Сократ в нас» (Коллингвуд) вызывает на искусное толкование нашего «Гермеса в сердце»,⁶² причем не дает ему сплутовать. Сократ не дает Гермесу-трикстеру подменить герменевтику риторикой.

614131: Три прозвища мужчины. «Материн сын», «муж своей жены» и «смертный», вот три обидных определения мужчины по трем женщинам в его жизни: мать, жена и олицетворенная смерть. Поскольку земля «нам всем общая мать» (Заг., 1929), сюда же прозвание (мирового) человека «земной», то есть «земляной» и «наземный», например *Адам* или латинское *homo: humus* «земля, почва». «Трижды человек дивен бывает: рождается, женится, умирает» (ПРН, с. 303), таким дивным человеком-мужчиной стал для нас Сократ, послушный сын строгой повитухи Фенареты,⁶³ добродушно терпеливый муж сварливой Ксантиппы, готовый к исцелительнице смерти герой Платоновых Апологии Сократа, Критона и Федона и даже школьного силлогизма.⁶⁴ Причем «Жениться – переродиться», есть и *кроватное дитя* «муж» – жена как мать, наоборот в бранном *motherfucker* – мать как жена «сукина сына»; прямой порядок мать, жена, смерть доканчивает Хлебников своим «Вступил в брачные узы со Смертью и таким образом женат.» (ПРН, с. 362; СРНГ 15, с. 265 сл.; автобиографическая заметка 1914). Обратный порядок у Блока, сперва «О Русь моя! Жена моя!» при тютчевском на смерть Пушкина «Тебя ж, как первую любовь, | России сердце не забудет!..», потом «–слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка.» (На поле Куликовом, 1—1908; 29-ое января 1837, концовка; конец письма Чуковскому от 26.5.21), ср. Ольга Форш в дневниковой записи Чуковского (10.5.23) «–Когда Блок умер, я пришла» к его матери, «а она говорит: „Мы обе с Любой его убили – Люба половину и я половину“». Соответственно три отца: родитель, посажёный и духовник.

614134: «Младший сын Громовержца». Сократ и Эдип оба матушкины сынки, но каждый по-своему.⁶⁵ А по Топорову (Эдип Соф., с. 218—21), согласно с Ницше, за Эдипом стоит сын Зевса и Семелы-Земли или Деметры – матери Земли Дионис и дальше «младший сын Громовержца» из реконструкции «основного мифа» во многих работах Топорова; тогда младший сын Громовержца в демифологизирующем фольклорном толковании и сам матушкин сынок.

Сокращения

Художественная литература и другие общие источники в этот список не вошли.

АТ – Antti Aarne and Stith Thompson, *The Types of the Folktale: A Classification & Bibliography*, second rev. (= FF Communications, № 184), Helsinki 1981.

Говор, телом – Desmond Morris, *Bodytalk: A World Guide to Gestures*, London 1994. Дитя природы – Г. И. Кабакова, *Дитя природы в системе природных и культурных кодов*. В кн.

Образ мира в слове и ритуале (= Балканские чтения, 1), Москва 1992, с. 94—105. Жив. ст. – Живая старина, Москва.

Заг. – Загадки (серия Памятники русского фольклора). Изд. подготовила В. В. Митрофанова, Ленинград 1968.

Зап. теор. словесн. – А. А. Потебня, *Из записок по теории словесности*. Изд. М. В. Потебни, Харьков 1905; репринт (= Slavistic Printings & Reprintings, 128): Hie Hague 1970.

⁶¹ Отсылки в 643 и д56.

⁶² Отсылка в а2424. ▼1: Диалектика и герменевтика—2: Риторика

⁶³ См. д6211.

⁶⁴ Приведен в 6132.

⁶⁵ См. д52112.

Интерпрет. детских игр – В.И. Топоров, К интерпретации некоторых мотивов русских детских игр в свете «основного» мифа (*пратки, жмурки, горелки, салки-пятнашки*). – *Studia mythologica Slavica*, 5 (2002), pp. 71—112.

ИСС – Вячеслав Иванов, Собрание сочинений, т. 1–4, Брюссель 1971—87 (изд. продолжается).

ИТСИК 2 – Вяч. Вс. Иванов, Избранные труды по семиотике и истории культуры, т. 2, Москва 2000.

Кн. поел. – В. В. Князев, Книга пословиц: Выборки из пословичной энциклопедии, Ленинград 1930.

Культ, дороги – Т. Б. Щепанская, Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв., Москва 2003.

Культ, фразеол. – О. А. Казакевич, О культуре народа, отраженной во фразеологии (на материале селькупского языка). В кн. Фразеология в контексте культуры, Москва 1999, с. 311—17.

Маннус—Anatoly Liberman, Mannus-Script: The Origin of the Germanic Word for «man». In: *Hrdā#mánasā* (к 70-летию Л. Г. Герценберга), Санкт-Петербург 2005, с. 185–200.

МФС – А. А. Мейер, Философские сочинения, Paris 1982.

НРС – Народные русские сказки А. Н. Афанасьева, т. 1–3. Под ред. М. К. Азадовского и др., Ленинград 1936—40; под ред. В. Я. Проппа, Москва 1957 и 1958; изд. подготовили Л. Г. Бараг и Н. В. Новиков, Москва 1984—85.

Обнаж. языка – И. А. Морозов, М. Л. Бутовская и А. Е. Махов, Обнажение языка: Кросс-культурное исследование семантики древнего жеста, Москва 2008.

Очерки семант. – А. Б. Пеньковский, Очерки по русской семантике, Москва 2004.

ПВТЧ – Армен Григорян, Первый, второй и третий человек, Москва 2008.

ППЗ – Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII–XX веков. Изд. подготовили М. Я. Мельц и др., Москва—Ленинград 1961.

ПРН – Пословицы русского народа. Сб. В. Даля, Москва 1957.

Р. сказка – Русская сказка: Избранные мастера. Редакция и комментарии М. Азадовского, т. 1 и 2, [Ленинград 1932]

Сб. Кирши Дан. – Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. Изд. подготовили А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов, Москва 1977

СВРЯ – В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1–4, третье изд., под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ, Санкт-Петербург—Москва 1903—09; репринты: Москва 1994 и 2000.

Сл. жестов – С. А. Григорьева, Н. В. Григорьев и Г. Е. Крейддин, Словарь языка русских жестов, Москва—Вена 2001.

Слав. др. – Славянские древности: Этнолингвистический словарь, под общей ред. Н. И. Толстого, т. 1–3, Москва 1995–2004 (изд. продолжается).

СРНГ – Словарь русских народных говоров, вып. 1—31, (Москва—)Ленинград/ Санкт-Петербург 1965—97 (изд. продолжается).

ТЭ – О. Н. Трубачев, Труды по этимологии: Слово. История. Культура, т. 1 и 2, Москва 2004.

Эдип Соф. —В. Н. Топоров, О структуре «Царя Эдипа» Софокла. В кн. Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели, Москва 1977, с. 214—58.

Эдип фольк. – Эдип в свете фольклора. В кн. В. Я. Пропп, Фольклор и действительность: Избранные статьи, Москва 1976, с. 258—99

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Под ред. О. Н. Трубачева, вып. 1—30, Москва 1974–2003 (изд. продолжается).

Этим. – Этимология, Москва 1963–2003 (изд. продолжается).

Этногенез – О. Н. Трубачев, Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования, второе изд., доп., Москва 2002.

А. Григорян. К истории рус. стыд

Существительное *стыд* засвидетельствовано в русском языке с конца XVI в. (по данным Картотеки Словаря русского языка XI–XVII вв.). До этого употреблялась исключительно форма *стыдѣ* (*стоудѣ*). Данные других славянских языков подтверждают, что исходной была именно форма с корневым гласным – у-, которая до сих пор сохранилась в чешском, словацком и словенском (в последнем в значении «отвращение»). При этом глагол *стыдиться* (*стыдѣтися*) и его соответствия во всех славянских языках с древнейших времен имеют огласовку *ы-*. Таким образом, в общеславянском существовало чередование **stud-!***styd-*, которое, по-видимому, различало соответственно именные и глагольные основы, т. е. было морфологическим. Такие имена, как *стыдѣние*, *стыдѣкъши*, *стыдѣливши*, имеют отглагольный характер, чем и объясняется их огласовка. Можно думать, что и существительное *стыдѣ* было произведено если не непосредственно от глагола *стыдиться* (такому «усечению» трудно привести убедительные аналогии), то под его формирующим влиянием. Скорее всего здесь имела место своеобразная контаминация слов *стыдѣ* и *стыдиться*. Но этого формального объяснения явно недостаточно. Остается непонятным, чем была обусловлена эта контаминация.

Отглагольное происхождение рус. *стыд* подтверждается словообразовательной структурой польск. *wstyd*, где префикс *w-* определенно указывает на связь с глаголом *wstydzić się* (ср. др. – рус. устойчивые сочетания *прийти въ стыдѣ*, *вести / привести въ стыдѣ*). Кстати, первая фиксация рус. *стыд*, (по данным Картотеки Словаря древнерусского языка XI–XIV вв.), по-видимому, не свободна от влияния польского языка, ср.: «Человѣку [...] неведущему, къ тому еще и скверных словесъ исполненному, и во стыду неимѣющему» (*Андрей Курбский*. Письма... XVI в., список XVII в.). Здесь польский префикс *w-* осмыслен Курбским или скорее переписчиком как предлог (полонизмы вообще характерны для стиля Курбского).

Слова с основой *студ-* в древнерусском языке могли обозначать как стыд, так и холод (ср. *стоудение*, *стоуденьи* – в обоих значениях), а с основой *стыд-* — чаще всего только стыд. Таким образом, семантическое противопоставление хотя уже и намечалось, но было недостаточно четким. Чередование, как было сказано выше, носило преимущественно морфологический характер. Иное соотношение в современном русском языке: слова на *студ-* обозначают, как правило, только холод (ср. *студить*, *простуда*, *стужа* – из **studja*), а слова на *стыд-* – только стыд; при этом от той и другой основы образуются как имена, так и глаголы. Этот переход от морфологического чередования *студ-/стыд-*: имя/глагол к семантическому соотношению *студ-/стыд-*: «холод»/"стыд" и обусловил, по-видимому, появление существительного *стыд*, которое затем полностью вытеснило не только прежнее *стоудѣ*, но и тоже очень древнее *стыдѣние* – возможно потому, что в слове *стыдѣ* (в отличие от *студѣ*) при его возникновении отчётливо ощущалась отглагольность, являющаяся определяющей и для семантики слова *стыд?тѣ*, и, следовательно, эти два слова — *стыдѣ* и *стыдѣние* – стали восприниматься как семантические дублеты.

Таким образом, существительное *стыдѣ* вторично по отношению к глаголу *стыдиться*. Но сам этот глагол в свою очередь произведен от существительного *стоудѣ* (вопреки мнению Ф. Миклошича и А. Вайяна). На это указывает типично именной суффикс – д-, входящий в состав глагола.⁶⁶ Ср. аналогичную производность от существительного глаголов с тем же чередованием *у/ы*: *дух* – *дышать*, *слух* – *слышать*, где производность подтверждается и чередованием согласных.

⁶⁶ См. Ю. В. Откупщиков. Из истории индоевропейского словообразования. М., 1967. С. 139.

Наконец, *стоу-дѣ*, как полагают, восходит к глагольной основе **sty-* «быть холодным, стыннуть», представленной в слав, (рус., белорус., польск.) *стыгнути* > *стынути*⁶⁷ и имеющей дальнейшие индоевропейские соответствия.⁶⁸

Таким образом, восстанавливаются следующие этапы истории (и предистории) рус. *стыд*:

**sty-* > *стоудѣ* > *стыдится* > *стыдѣ*

Первые три этапа имели общеславянский характер, последний охватил большинство славянских языков, но не все.

⁶⁷ См. Б. А. Ларин. Из истории славяно-балтийских лексикологических сопоставлений (*стыд* – *срам*) И Б. А. Ларин. История русского языка и общее языкознание. М., 1977. С. 66.

⁶⁸ Фасмер, ст. *студа*. Ю. В. Откупщиков. Указ. соч. С. 139.

Л. П. Крысин

О способах выражения смысла "часть целого" в русском языке

Отношение «часть – целое» – одна из фундаментальных категорий, характеризующих материальный и духовный мир. Подавляющее большинство объектов физической и интеллектуальной природы имеет структуру, в которой реально или потенциально выделимы части, в совокупности составляющие целое. У дерева есть *корни, ствол, ветви*; у человека — *голова, туловище, руки, ноги*; дом имеет *фундамент, стены и крышу*; велосипед — *раму, колеса, руль, передачу, педали*; пальто — *полы, воротник, рукава* и т. д. Мы можем говорить о *главах* романа, *строфах* стихотворения, *постулатах* и *доказательствах*, составляющих некую научную теорию, о *компонентах* архитектурного проекта, *фрагментах* картины, *сериях* кинофильма, *цитатах* из книги, *обрывках* воспоминаний и т. п.

Во всех этих случаях в явном или неявном виде выступает отношение «целое и его части». Связь части с целым имеет разную природу и различное языковое выражение.

Р. О. Якобсон считал это отношение лингвистически релевантным и утверждал: «Постоянное внимание к разнообразным формам отношений между целым и частью поможет шире раздвинуть рамки нашей науки» [Якобсон 1985: 305].

В этой статье основное внимание сосредоточено на лексических способах выражения смысла "часть целого" применительно к двум классам объектов: (а) имеющим пространственную протяженность и (б) имеющим временную протяженность.

Класс (а) делится на следующие подклассы:

- 1) природные объекты: *лес, гора, дерево, растение, озеро* и т. п.;
- 2) артефакты: *автомобиль, книга, станок, шоссе* и т. п.;
- 3) человек и животное в их физической сущности (тело человека и животного и части тела): *голова, рука, нога, живот, спина, лапа, морда* и т. п.

Класс объектов, имеющих временную протяженность (б), делится на два подкласса:

- 1) периоды времени: *век, год, месяц, неделя, сутки, день, час, минута, секунда* и т. п.; ср. такие обозначения частей временных отрезков, как *начало века, конец года, середина месяца, утро, полдень, вечер, четверть часа, полминуты, доля секунды* и т. п.;
- 2) этапы развивающихся во времени процессов: ср. сочетания типа *начало химической реакции, этап исследования, конец сеанса, ступень эволюции, кульминация события, вершина карьеры* и т. п.

По отношению к большинству объектов материального мира целое интуитивно мыслится как нечто ограниченное физическими пределами: *дом, человек, дерево, телевизор* и т. п. Такое «нечто» может быть и внутри другого объекта, то есть составлять его часть, но при этом также иметь физические границы: *комната, пещера, сердце, карбюратор* (автомобиля), *ствол, компьютер* – и, в свою очередь, делиться (или предполагать деление) на части: ср. *стены комнаты, свод пещеры, клапан сердца, жиклёр карбюратора, сердцевина ствола, корпус компьютера* и т. п. Подобная «многоступенчатость» проявления отношений между целым и его частями весьма характерна для устройства объектов природы, артефактов и предметов физического мира.

Между двумя указанными классами объектов, которые могут рассматриваться с точки зрения отношения "часть целого", есть одно весьма существенное различие. Объекты, имеющие пространственную протяженность, дискретны, физически отграничены друг от друга; ср. такие объекты, которые могут мыслиться как целое, имеющее части: *гора (вершина, склон,*

подножие горы), береза (корни, ствол, ветки березы), медведь (морда, шкура, лапа медведя), шкаф (стенки, дверца шкафа) и т. п.

Время же недискретно, континуально, и только человеческое сознание может выделить в нем какие-то части, опираясь на определенные закономерности в чередовании временных фаз: часть года (*весна, лето, осень, зима*), часть суток (*утро, день, вечер, ночь*), начало, середина, конец протяженных во времени процессов, ит. д.

Хотя у человека нет «органа, специализированного на восприятии времени», у него «есть чувство времени. Оно порождено восприятием изменений в мире. Его основной источник – космическое время – смена времен дня и сезонов года» [Арутюнова 1998: 51]. На оси времени мы можем выделять определенные отрезки, части, но эти части принципиально отличны от частей тех объектов, которые принадлежат материальному миру.

Логически отношение "часть – целое" характеризуется следующей зависимостью:

если $p(1)$ – часть W , то должны быть $p(2)$, $p(3)$... , $p(i)$, которые также являются частями W и в совокупности составляют W как целое; часть не может

быть равной целому (см. об этом в частности [Крысин, Ли Ын Ян 1999; 2000]).

Отношение «часть – целое» и природа вещей

Природа частей, составляющих целое, может быть весьма различной; это относится и к самому целому.

Части могут быть количественно определенными и количественно неопределенными, неотторгаемыми и отторгаемыми, составлять органическое целое с другими частями или быть достаточно автономными, иметь определенные функции или не нести никакой функциональной нагрузки, быть материальными и нематериальными.

Приведем примеры частей целого, соответствующих каждой паре названных признаков:

1) количественно определенные части: *половина, треть, четверть, десятая, сотка, осьмушка* и др.; количественно неопределенные: *доля, кусок, порция, сегмент, фрагмент, компонент, часть, частица* и др.;

2) неотторгаемые части: *верх, низ, край, середина, поверхность, сторона* и др.; ср.: *верх шкафа, низ колонны, край скатерти, середина площади, поверхность озера, левая сторона зала*; отторгаемые части: *ветка (дерева), ножка (стула), крыша (дома), подошва (сапога) – ср. подошва горы*, где слово *подошва* обозначает неотторгаемую часть целого – горы;

3) части, составляющие органическое единство с целым: *кисть руки, верхушка ели, дно кастрюли* ит. п.; относительно автономные части: *ножка (стула), капот (автомобиля), ящики (письменного стола)* и т. п.;

4) части, имеющие определенную функцию: *корни (дуба), ковш (экскаватора), лезвие (ножа), сердце (спортсмена), хобот (слона)* и т. п.; функционально неопределенные: *гребень (волны), опушка (леса), обочина (дороги), кромка (льдины)* и т. п.

5) части материальные: *долька (лимона), кусок (провода), обрывок (веревки), обод (колеса), стены (дома), хвост (собаки)* и т. п. – и нематериальные: *прорезь (прищела), разрез (платья); доля секунды, четверть века, полгода* и т. п.

Перечисленные признаки – пересекающиеся: одна и та же часть может быть количественно определенной, отторгаемой, материальной и иметь какую-либо функцию или же, напротив, количественно неопределенной, принципиально неотделимой от целого, функционально не нагруженной, нематериальной и т. д. Легко видеть наиболее естественно сочетающиеся признаки: например, относительно автономными, отторгаемыми, материально выраженными и функционально нагруженными являются главным образом части артефактов – машин, механизмов, приборов, устройств, приспособлений и т. п.; ср.: *крышка чайника, фара автомобиля, гусеницы танка, окуляры микроскопа* и др. Неотторгаемыми, составляющими органиче-

ское единство с целым, функционально неопределенными чаще оказываются части природных объектов; ср.: *вершина горы, опушка леса, склон холма, дно озера* и т. п.

Части целого могут различаться по своему «происхождению». Одни – следствие естественного, положенного по природе вещей членения объекта на составляющие: гора состоит из подножия, склонов, вершины; дерево – из корней, ствола, кроны; тело человека – из туловища, головы, конечностей и т. д. Другие возникают в результате деятельности человека, направленной на создание каких-либо объектов: таковы части строений, машин, приборов и др. Третьи – результат действия деструктивных сил, стихийных или сознательно направленных; ср.: *осколки (бутылки), обломок (кирпича), обрезок (доски)* и т. п.

Как правило, разные части артефактов имеют разные функции и неоднородны по структуре: ср. такие компоненты артефактов, как крышка и носик чайника, цоколь, колба и нить накаливания – у электролампы, бумажные листы и переплет или обложка – у книги и т. п.

Части, возникающие в результате деструкции предмета, обычно более или менее однородны по структуре и функционально неопределенны: *крошки (батона, сухарей), обрывки (газеты), огрызок (яблока)* и т. п.

Слова целое и часть в русском языке

От смыслов «целое» и «часть» следует отличать слова *целое* и *часть*. Слово *целое* в русском языке имеет форму только единственного числа⁶⁹ и употребляется в ограниченном наборе контекстов – типа: *единое целое; Теория представляет собой стройное целое* и т. п., в которых подчеркивается монолитность, неделимость того, что характеризуется как целое.⁷⁰ Это соответствует и словарным толкованиям слова *целое*: «то, что представляет собой нечто единое, нераздельное, монолитное, в противоп. части» [СУ, IV: 1210];⁷¹ «совокупность чего-либо как нечто единое» [МАС, IV: 638]; «нечто единое, нераздельное» [СОШ-1997: 873].

Между тем, типичные объекты, к которым применимо понятие «целое», как раз имеют составные части, на которые это целое членится (фактически или потенциально). Таково, например, тело человека и других живых существ, многие природные объекты, различные механизмы, устройства, машины и т. п. В своих основных функциях они проявляют себя действительно как нечто единое и даже неделимое, но это не исключает того факта, что осуществление этих функций происходит благодаря действию и взаимодействию частей целого – органов и тканей тела, корней и ветвей деревьев, деталей машин и механизмов и т. д.

Смысл «целое» актуализуется тогда, когда мы можем говорить о составных частях этого целого; тем самым понятие целого не абсолютно, а относительно. Лишь имея в виду это обстоятельство, мы можем осознавать как целое тело человека, автомобиль, самолет, доменную печь, телевизор и т. п. Если же мы, например, сопоставляем эти предметы друг с другом безотносительно к их структуре, скажем, по их функциям (автомобиль – чтобы ездить по земле, самолет – чтобы летать по воздуху, доменная печь – чтобы выплавлять сталь, и т. д.), то понятие целого неактуально, во всяком случае, оно никак не проявляет себя в высказываниях, включающих имена названных предметов. Ср.: *ехали на автомобиле, прилетел ночным самолетом, задули*

⁶⁹ В отличие от этого, например, у английского соответствия этого слова — *whole* форма множ. числа *есть*. Опубликованный в 60-х гг. XX в. сборник работ, в котором проблема части и целого рассматривается в применении к разным областям человеческой деятельности, называется «Parts and Wholes» (см. [Lerner 1963]), что на русский язык переводится как «Части и целое».

⁷⁰ Прилагательное *целый*, производным которого является рассматриваемое нами субстантивированное существительное, имеет несколько значений и в одном из них может употребляться также как субстантив – в результате стяжения словосочетания *целое число: пять целых, семь десятых; ноль целых, две сотых* и т. п.

⁷¹ В статье приняты следующие сокращения для названия словарей: МАС – Словарь русского языка. Т. I—A / Гл. ред. А. П. Евгеньева. 2-е изд. М... 1981–1984; СОШ-1997 — С. П. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М., 1997; СУ – Толковый словарь русского языка. Т. I—A / Под ред. Д. Н. Ушакова. М... 1935–1940.

новую доменную печь, телевизор опять не работает, и т. п. (в отличие от контекстов типа *кабина автомобиля, крыло самолета, горн доменной печи, экран телевизора* и т. п.).

Из этих примеров видно, что смысл «целое» и слово *целое* во многом различны: смысл «целое» важен при характеристике тех или иных объектов как состоящих из определенных частей, а слово *целое* употребляется так, что исключает какое-либо представление о «частичности» тех объектов, к которым это слово применимо.

Как кажется, между смыслом «часть» и словом *часть* такой большой разницы нет.

Имеющиеся словарные толкования слова *часть* едва ли можно признать удовлетворительными, так как они содержат компонент «доля» (ср.: «доля целого» – СУ и МАС, «доля, отдельная единица, на которые подразделяется целое» – СОШ– 1997), а слово *доля* толкуется как «часть чего-н.» (СУ и СОШ-1997) или «часть целого» (МАС); налицо логический круг.

По всей видимости, смысл "часть (У-а)" целесообразно считать базовым, элементарным⁷² и потому не разложимым на составные компоненты, а слова типа *доля, кусок, фрагмент* и под. толковать с его помощью. Слово *часть* в основном своем значении равно смыслу «часть» (ср. сочетания типа *часть целого, верхняя часть яблока, разрезать веревку на части* и т. п.); в других же значениях его толкования могут содержать иные смысловые компоненты: «предмет как составной элемент чего-либо (организма, машины)» – *голова и другие части тела человека; запасные части автомобиля*; «раздел литературного или музыкального произведения» – *роман в трех частях; вторая часть сюжета*; «отдел учреждения» – *учебная часть*, и т. п.

Хотя и в производных своих значениях слово *часть* сохраняет указание на связь с неким целым, в наиболее «чистом» виде эта связь ощущается в первичном, прямом значении этого слова.

Между тем, типичные части какого-либо типичного целого могут иметь в языке такие формы обозначения, которые эксплицитно не указывают на то, что данный объект является частью другого объекта, – информация об этом может содержаться лишь в толковании слов, но не в каких-либо внешних показателях (например, аффиксах). Ср. названия частей тела: *голова, рука, нога, спина* и под. – то, что они являются обозначениями частей целого (тела человека или животного), «встроено» в их значения; в толковых словарях описание прямых значений этих слов осуществляется с помощью смыслового компонента «часть». Экспликация же того факта, что они обозначают части тела, может происходить при построении генитивных и атрибутивных конструкций, указывающих на характер «целого», которое состоит из частей, а также в предикативных конструкциях, описывающих строение тела человека или животного: *голова собаки (собачья голова), ноги слона, рука сестры (сестрина рука), спина грузчика; Тело кенгуру состоит из маленькой головы, короткого туловища, длинных и сильных задних ног и слабых передних*, и т. п.

Таковы же – с точки зрения неэксплицитности выражения смысла "часть целого" – слова *горлышко, деталь, дно, доля, компонент, край, крыша, кусок, ножка, подошва, сегмент, сердцевина, ствол, стебель, стена, фрагмент, фундамент, элемент* и др.

С другой стороны, существуют и такие однословные наименования типичных частей целого, которые в самой своей морфолого-словообразовательной структуре содержат указание на принадлежность обозначаемого объекта некоему целому или на отторжение от этого целого. Это, например, префиксальные, суффиксально– префиксальные и суффиксальные существительные типа *ответвление, отросток, отрывок, отрезок, обрывок, очистки; выдержка (из*

⁷² Термины «базовый» и «элементарный» соответствуют тому, что А. Вежицкая называет семантическими примитивами [Wierzbicka 1972] и понятийными примитивами: «Если имеется некоторое число понятийных примитивов, понимаемых непосредственно (не через другие понятия), то эти примитивы могут служить твердым основанием для всех других понятий: бесконечное число новых понятий может быть получено из небольшого числа семантических примитивов» [Вежицкая 1996: 296].

доклада), выход (стоять у выхода), выписка (читать выписку из протокола), вырезка (приготовить жаркое из вырезки) и др.

Способы выражения смысла «часть целого» в русском языке

Смысл «часть целого» может получать выражение в актах номинации и в актах предикации. В актах номинации участвуют номинативные единицы, в актах предикации – предикаты и их актанты.

Под номинативными единицами в нашем случае имеются в виду (1) слова, значения (толкования) которых содержат семантические компоненты «часть» и «целое»; (2) слова, которые не только своим значением, но и морфолого– словообразовательной структурой указывают на отношение «часть – целое»: *обрубок, вырезка, отросток* и т. п.; (3) сочетания слов, беспредложные и предложные, обозначающие это отношение (типа *крышка чайника, дверь\а от шкафа, фара к «Жигулям», книжный переплет* и т. п.).

Типичными предикатами, обозначающими отношение «целое и его части», являются глаголы *составлять* (*Введение, три главы и заключение составляют текст диссертации*), *состоять* (*Книга состоит из двух частей*), *иметь* (*Карабин имеет съёмный штык*), *быть* (*У моржа есть два клыка; У этого автомобиля – две ведущие оси*), *входить* (*В работу входят два приложения*), *подразделяться, делиться* (*Симфония подразделяется (делится) на шесть частей*) и нек. др.

В этой статье кратко рассматриваются лишь некоторые, наиболее типичные номинативные единицы первой группы.

Типы слов, обозначающих части целого

Сама природа «частичности» различна. Как мы пытались показать выше, часть может мыслиться как принципиально неотделимая от предмета, как составляющая с ним органическое единство, как орган или ткань живого организма, как фрагмент природного объекта, как деталь машины, прибора, механизма и т. д. В зависимости от этого можно подразделить слова, обозначающие часть целого, на несколько групп:

- 1) стандартные обозначения количественно определенных частей целого;
- 2) стандартные обозначения количественно неопределенных частей целого;
- 3) обозначения неотторгаемых частей целого;
- 4) обозначения относительно автономных частей целого;
- 5) обозначения пустот.

Рассмотрим слова каждой из этих групп, приводя словарные толкования их значений.

Стандартные обозначения количественно определенных частей целого

Имеются в виду слова, обозначающие определенные доли предметов: *половина, половника, треть, четверть, четвертушка, четвёртка, десятинна, сотка* и др. Толкования этих слов обычно содержат смысловой компонент «часть» или его аналог – слово, которое может быть истолковано с помощью компонента «часть». Ср., например, толкование слова *половина*:

ПОЛОВИНА... 1. Одна из двух равных частей, вместе составляющих целое. 77. яблока. 77. дела сделана. 77. комнаты. 77. лета прошла. Первая п. игры (в спорте) (СОШ-1997).

В современной русской речи встречаются ненормативные сочетания *большая половина, меньшая половина*, противоречащие по смыслу приведенному толкованию. Надо сказать,

однако, что релевантный для данного значения слова *половина* смысл «одна из двух частей» сохраняется и при таком употреблении слова.

Идея разделенности надвое присутствует в значении словообразовательных производных *половинка* (обе половинки яблока), *половинный* (в половинном размере, то есть равном одной второй части), а также фразеологизма *половина на половину*, синонимичного наречиям *поровну*, *пополам* (ср.: *поделить добычу половина на половину*).⁷³

Существительное *четверть* толкуется в словарях как «четвертая часть целого. Ч. часа. Ч. года»⁷⁴ (СОШ-1997). Оно употребляется также для обозначения четвертой части учебного года (*отметки за четверть*), старой русской меры (*четверть вина* – емкость, равная четвертой части ведра) и как название обиходной меры длины, равной расстоянию между кончиками большого и среднего пальцев широко раздвинутой кисти (одна четвертая часть аршина).

От основы *четверт-*, производной от количественного прилагательного *четвертый*, образованы и другие слова, обозначающие четвертую часть чего-либо: *четвертушка*, *четвертинка*, *четвёртка*, *четвертная*.

Четвертушка, как следует из словарных толкований, – это «четвертая часть чего-н.» (СОШ-1997), однако сочетаемость этого слова ограничена: оно употребляется преимущественно при обозначении четвертой части каких-либо видов хлеба (*четвертушка буханки*, *батона*) и листов бумаги (устаревшее выражение *четвертушка бумаги* обозначает четвертую часть стандартного писчего листа). В сочетании с названиями других видов предметов употребление слова *четвертушка* в современном русском языке менее обычно или невозможно.

Слово *четвертинка* употребительно лишь в одном из нескольких фиксируемых словарями значений – «бутылка водки емкостью в четверть литра»; малоупотребительно слово *четвёртка* в значении «четверть фунта» (*четвёртка табаку*, *четвёртка чаю*); устаревшее просторечное слово *четвертак* толкуется в словарях как «двадцать пять копеек» и при таком толковании не соотносится со смыслом «часть целого», однако нетрудно догадаться, что двадцать пять копеек составляют четвертую часть рубля. В «денежном» смысле употреблялось и ныне устарелое просторечное субстантивированное существительное *четвертная* – двадцать пять рублей (то есть четвертая часть сотни рублей).

Еще одно слово, обозначающее, подобно *четверти*, долю, кратную одной второй, – *восьмушка* и его фонетический вариант *осьмушка*. Оно обозначает восьмую часть фунта, выступая главным образом в сочетании *восьмушка табаку* и *восьмушка чаю*, и восьмую часть бумажного листа.

Стандартным обозначением количественно определенной части целого является также слово *треть*, которое, однако, не столь продуктивно в отношении словообразовательных и семантических производных, как слова *половина* и *четверть*. Слово сочетается с названиями любых поддающихся количественному измерению объектов, в том числе с названиями отрезков времени и частей пространства; ср.: *первая треть матча (столба)*, *прочитал треть книги*, *две трети пути*, *одна треть года (суток)* и т. п.

На основе числительных созданы также слова *десятина* и *сотка*, употребляющиеся применительно к мерам земельной площади (другие значения – например, значение слова *десятина* – «в католических странах: налог в пользу церкви в размере одной десятой части дохода»,

⁷³ В связи со словом *половина* следовало бы рассмотреть морфемы *пол-* (*пол-яблока*, *полкотлеты*, *полчаса*, *поведра* и т. п.) и *полу-* (*полукруглость*, *полуправда*, *полутьма* и т. п.), которые также могут обозначать одну из двух частей предмета. Однако в соответствии с обозначенным в названии статьи граничением – рассматривать только лексические способы выражения смысла «часть целого» – мы оставляем эти морфемы за пределами нашего внимания. О морфологическом статусе морфем *пол-* и *полу-* и их семантике см. [Мельчук 1995].

⁷⁴ Словарные описания приводятся лишь в тех их частях, которые актуальны для нашего рассмотрения; кроме приведенных, данные слова имеют и некоторые другие значения, толкования которых здесь не цитируются.

фиксируемое Словарем Ушакова, *сотка* в значении «сотая часть какой-нибудь меры», по-видимому, окончательно устарели).

Стандартные обозначения количественно неопределенных частей целого

К этой лексико-семантической группе относятся слова, обозначающие такие части предметов, которые могут находиться в разных количественных отношениях с целым: *доля*, *компонент*, *кусок*, *участок*, *фрагмент*, само слово *часть* и нек. др. Очевидно, что каждое из этих слов обозначает такую часть предмета (а в некоторых случаях еще и времени и пространства), которая может быть количественно различной в зависимости от ситуации (ср. со словами предыдущей группы, значения которых указывают на постоянное соотношение с целым: один к двум (*половина*), один к трем (*треть*), один к четырем (*четверть*) и т. д.).

В толкованиях этих слов присутствует компонент «часть» или какой-либо его синоним, который в своем толковании содержит компонент «часть». Ср. (толкования даны по СОШ-1997):

ДОЛЯ – часть чего-л. *Разделить на равные доли;*

КОМПОНЕНТ – составная часть чего-л.;

КУСОК – 1. Отдельная часть чего-л. (отломанная, отрезанная). *К. хлеба. К. земли. К. мяса.* 2. перен. Часть чего-л., отрезок. *К. диссертации. Цельный к. жизни;*

УЧАСТОК – 1. Отдельная часть какой-л. поверхности, пути. *У. трассы.* 2. Часть земельной площади, занятая чем-н. или предназначенная для чего-н. *Земельный у. Лесной у. Садовый у.;*

ФРАГМЕНТ – 1. Отрывок текста, художественного, музыкального произведения. *Ф. романа. Ф. картины.* 2. Обломок, остаток древнего произведения искусства. *Скульптура сохранилась лишь во фрагментах.*

Фигурирующие в этих толкованиях компоненты «отрезок», «отрывок», «обломок», «остаток» в качестве самостоятельных лексем толкуются через смысловые компоненты «часть» и «кусок»: ОБЛОМОК – отбитый или отломившийся кусок чего-н.; ОСТАТОК – оставшаяся часть чего-л.; ОТРЕЗОК – небольшой отрезанный кусок чего-л., измеряемого в пространстве или во времени; ОТРЫВОК – часть, выделенная из какого-н. произведения, из повествования.

Обозначения неотторгаемых частей целого

Материальные предметы как природного происхождения, так и артефакты могут иметь поверхность, верх, низ, левую и правую стороны, середину, конец и другие части, которые неотторгаемы от предмета: *поверхность озера, верх шкафа, низ колонны, левая сторона улицы, середина круга, конец веревки* и т. п.

Помимо неспецифических обозначений частей какого-либо объекта (только что указанного типа), которые более или менее свободно сочетаются с названиями разнообразных предметов (ср.: *поверхность стола, реки, дороги, озера...*; *верх дома, стены, горы, колонны...*; *середина круга, бумажного листа, циферблата, площади*), – подобные неотторгаемые части в ряде случаев могут иметь весьма идиоматичные номинации. Эти номинации называют часть ограниченного класса объектов, в некоторых случаях образующих весьма небольшое множество. Имеются в виду номинации типа *верховье, низовье, исток, устье* – только у реки или, реже, у ручья; *стрешень, стремнина* – только у реки, да и то не у всякой, а преимущественно большой и полноводной; *подножье, подошва, склон* – у горы или холма; *опушка* – у леса, рощи, бора; *лезвие* – ножа, бритвы, топора, кинжала, финки, сабли и других режущих инструментов и т. п.

Большая часть слов, обозначающих неотторгаемые части предметов, в словарях толкуется с помощью смыслового компонента «часть», например:

ВЕРХ... 1. Наиболее высокая, расположенная над другими часть чего-н.; НИЗ... 1. Часть предмета, ближайшая к основанию, а также само основание...; ВЕРШИНА... Самый верх, верхняя часть (горы, дерева и т. п.)...; ВЕРХОВЬЕ... Часть реки, близкая к ее истокам, а также прилегающая к ней местность...; ДНО... 2. Нижняя часть углубления, выемки. *Д. колодца. Д. котлована* (толкования приведены по [СОШ-1997]).

Типичными обозначениями неотторгаемых частей являются слова *край* и *кромка*. Кажется бы, этому нашему утверждению противоречит факт сочетаемости этих слов с предикатами, указывающими на возможность отделения части от целого: *Край льдины обломился; обрезать кромку* и т. п. Однако ситуация отделения от предмета кромки или края не означает уничтожения таких частей: *край (кромка)* остается у предмета – льдины, куска материи и др. – и после отделения какой-либо «краевой» его части до тех пор, пока существует предмет (невозможно представить себе льдину, у которой нет края). Сочетания же *отсечь (дракону) голову, отломать (у игрушечного автомобиля) дверцу* и под. описывают ситуации, когда дракон остается без головы, а автомобиль без дверцы.

С помощью слова *край* в словарях толкуется слово *лезвие*: «острый край режущего, рубящего орудия» (СОШ-1997). Тот факт, что эта часть неотторгаема, проявляется в сочетаемости слова *лезвие*: лезвие можно *наточить, затупить, зазубрить*, но, по-видимому, нельзя *отломить*. В отличие от этого, острие можно отломить или обломить, но это слово и толкуется не через компонент «край», а через компонент «конец» (ср. в [СОШ-1997]: «...острый, режущий конец...»).

Смысловой компонент «часть» используется в толковании слов, обозначающих «срединные» области предметов: *середина, середка, сердцевина, стрежень, стремнина* и нек. др. (Читатель может убедиться в этом сам, обратившись к соответствующим словарным толкованиям.)

Обозначения относительно автономных частей целого

Эти обозначения можно разделить на три основные группы; их порядок отражает убывание степени относительной автономности частей целого: 1) части артефактов – сооружений, машин, механизмов ит. п.; 2) части тела человека и животного (органы, ткани); 3) части природных объектов, а также плодов растений (части других природных объектов – гор, лесов, озер, рек и т. п., как мы пытались показать выше, чаще всего являются неотторгаемыми: *подножие, вершина, исток, устье, опушка* и т. п.).

1). Части артефактов.

Части сооружений: *крыша, стены, фундамент* (дома, здания).

Части бытовых вещей: *ножка* (стула, стола), *спинка* (кровати, стула), *валик* (дивана), *носик, крышка* (чайника), *дверца* (шкафа, холодильника), *дужки* (очков) и т. п.

Части машин, механизмов: *колесо, рама, руль, фара* (автомобиля, велосипеда), *итурвал* (судна, самолета, комбайна), *суппорт, станина* (токарного станка), *карбюратор, поршень, цилиндр* (мотора) и т. п.

Части приборов: *очки* (микроскопа, бинокля), *объектив* (фотоаппарата), *корпус, стрелки, циферблат* (часов, компаса), *экран* (телевизора, компьютера) и т. п.

Части орудий труда, части оружия: *топорщице, ручка, рукоятка* (ножа), *черенок* (лопаты), *ствол, затвор, прицел, приклад* (винтовки, карабина, автомата), *эфес* (сабли), *лафет* (орудия) и т. п.

Части этого рода могут быть отделены от предмета, и это обстоятельство обуславливает относительную свободу синтаксической сочетаемости наименований частей с зависимыми,

обозначающими сам предмет: *фара автомобиля, фара от автомобиля, автомобильная фара, фара к автомобилю* и т. п.

2). Части тела человека и животного.

Обозначения частей тела человека и животного неоднократно становились объектом внимания исследователей ввиду коммуникативной важности для говорящих самих этих обозначений, их частотности в речи, а также ввиду неординарности их семантики и, в частности, способности служить базой для формирования многообразных переносных значений, сложных коннотативных смыслов, фразеологических оборотов и т. п. (см. об этом, в частности, работу [Иорданская 2004]). Нас в данной статье интересует вопрос о том, как толкуются (или должны толковаться) слова, обозначающие части тела человека и животного, в их прямых значениях.

Критерием отнесения слова к лексической группе, обладающей интегральным семантическим признаком "часть тела", является наличие в толковании такого слова компонента «часть» или его аналога, который может быть истолкован с помощью смыслового компонента "часть".

Одним из таких аналогов является слово *орган*, которое в словарных толкованиях определяется с помощью компонента «часть», например:

«ОРГАН... 1. Часть организма, имеющая определенное строение и специальное назначение» [СОШ-1997]; «ОРГАН... 1. Часть животного или растительного организма, выполняющая определенную функцию» [МАС].

Приведем примеры некоторых словарных толкований частей тела человека и животного с использованием смысловых компонентов «часть» и "орган":

«ГОЛОВА... 1. Верхняя часть тела человека, верхняя или передняя часть тела животного, содержащая мозг...»⁷⁵ [МАС];

«ГОРЛО... 1. Передняя часть шеи» [СОШ-1997];

«НОС... 1. Орган обоняния, находящийся на лице человека, на морде животного...» [СОШ-1997];

«МОРДА... 1. Передняя часть головы животного» [СОШ-1997];

«СЕРДЦЕ... 1. Центральный орган кровеносной системы в виде мышечного мешка (у человека в левой стороне грудной полости)» [СОШ-1997];

«ШЕЯ... У позвоночных и человека: часть тела, соединяющая голову с туловищем» [СОШ-1997].

3). Части природных объектов.

Выше мы рассмотрели некоторые наименования таких природных объектов, которые от этих объектов нельзя отделить: *верховье (исток, устье, стрежень)реки, поверхность озера, подножие горы* и т. п. Но у природных объектов могут быть части и относительно самостоятельные, имеющие свою функцию. Мы имеем в виду главным образом объекты растительного мира: деревья, кусты, травы, цветы. У них есть *ствол, ветви* или *ветки, листья, корни, стебель, цветки, плоды* и нек. др. части.

Особую группу по идиоматичности сочетания с другими словами составляют названия различных видов наружного покрова растений и их плодов: *кожица, кожура, кора, оболочка, скорлупа, шелуха* и нек. др. Наиболее общим значением обладает слово *оболочка*, которое может быть истолковано примерно следующим образом:

оболочка X-а = «поверхностный слой растения или плода X, составляющий с X-ом одно целое, но имеющий иное строение, чем остальные части X-а, и потому отделяемый от X-а».

Остальные названия, приведенные выше, можно истолковать с помощью компонента «оболочка», например: *кожица* – «тонкая оболочка листьев, стеблей и некоторых других орга-

⁷⁵ Компонент «содержащая мозг», вероятно, не покрывает всех случаев употребления слова *голова*: так, можно говорить о голове червя, голове моллюска, но едва ли в этих случаях актуален признак «наличие (в голове) мозга».

нов растений»; *кожура* – «оболочка плодов, семян»; *кора* – «многослойная оболочка древесных растений, обычно легко отделяемая от древесины»; *скорлупа* – «твердая оболочка яйца или ореха», *шелуха* – «отделенная оболочка картофеля, семечек подсолнуха, семян злаков»; в последнем случае, в отличие от всех остальных, компонент «отделенная» обязателен: ср. невозможность сочетаний типа **снять шелуху с картошки*, **очистить картофелину от шелухи* – при правильности подобных сочетаний с другими из рассматриваемых слов: *снять кожуру с банана (кожицу со стебля)*, *очистить ствол дерева от коры (яйцо от скорлупы)* и т. п.

Обозначения пустот

До сих пор мы рассматривали материальные части тех или иных предметов. В данном разделе предлагается и некоторые пустоты – отверстия, вырезы, канавки, прорезы и т. п. – считать частями некоего целого. При этом необходимо провести различие между русским словом *пустота*, которое в прямом своем значении (ср. переносное: *душевная пустота*) имеет довольно ограниченный круг употребления (*пустоты в литье, в горной породе, в металле*), и фиктивным словом *пустота*, которое необходимо для толкования всех видов отверстий, прорезей, углублений и т. п.

Пустота истолкована Ю. Д. Апресяном следующим образом: «*пустота* = пустое пространство в теле, ограниченное телом а) со всех сторон (ср. *пустоты в литье*), или б) со всех сторон, кроме одной (ср. *выемка*), или в) со всех сторон, кроме двух противоположных (ср. *отверстие*)» [Апресян 1974: 74–75]; см. также использование смыслового компонента *пустота* при толковании группы глаголов, обозначающих деструктивные действия, в работе [Крысин 1976]. В работе [Урысон 1997] толкования слов *дыра, отверстие* и некоторых их синонимов даются с помощью русского слова *пустота*.

Как мы видим, в толковании слова *пустота* отсутствует смысловой компонент «часть», наличие которого необходимо для отнесения толкуемого слова к классу обозначений части целого. Может быть, в таком случае мы и не должны рассматривать разного рода пустоты как части предметов?

При ответе на этот вопрос необходимо принять во внимание природу пустот. Одни из них образуются стихийно: *дыра, выбоина, колдобина, рывина, пролом* и т. п. (1); другие являются результатом целенаправленной деятельности человека и обычно выполняют определенную функцию в том или ином предмете: *прорезь прицела, смотровая щель* (в танковой башне), *вырез платья* и т. п. (2); третьи составляют часть (орган) живого организма (*ноздри, рот, пасть, влагалыще* и т. п.) и также выполняют ту или иную функцию (3).

По всей видимости, лишь пустоты второго и третьего рода (то есть выполняющие определенные функции) можно интерпретировать как части целого. Соответствующие слова – обозначения такого рода пустот – могут быть достаточно естественным образом истолкованы с помощью компонента "часть": *прорезь* – это часть прицела, *смотровая щель* – это часть башни танка, *вырез* – часть платья, *ноздри* – часть носа и т. д., разумеется, с необходимыми уточнениями, касающимися индивидуальных особенностей каждой из пустот и их функций. (В то же время слова первой группы трудно истолковать с помощью смыслового компонента «часть»: *дыра (в заборе)* = «часть забора»?; *выбонна, колдобина, рывина (на дороге)* = «часть дороги»?; *пролом (в стене)* = «часть стены»?).

Некоторые из пустот, возникающих в результате целенаправленной деятельности человека или составляющих часть живого организма, не являются пустотами в строгом смысле слова: они имеют внутреннее строение, сами состоят из частей, но все же смысловой компонент «пустота» является их определяющим признаком (ср. слова: (замочная) *скважина, канал* (ствола орудия), *рот, ухо, ноздри, пасть* и нек. др.).

В заключение необходимо отметить, что в данной статье рассмотрены лишь некоторые способы и средства выражения смысла "часть целого" в русском языке. Словообразовательные средства и синтаксические конструкции, используемые для выражения этого смысла, описаны в некоторых других работах: см., например, [Всеволодова 1975; Всеволодова, Владимирский 1982; Рахилина 2000] и нек. др.

Литература

- Апресян 1974 — *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
- Арутюнова 1998 — *Арутюнова Т. Д.* Время: модели и метафоры // Логический анализ языка: Язык и время. М., 1998. С. 51–61.
- Вежбицкая 1996 — *Вежбицкая А.* Семантические универсалии и «примитивное мышление» // *Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание / Пер. с англ. М., 1996. С. 291–325.
- Всеволодова 1975 — *Всеволодова М. В.* Способы выражения временных отношений в современном русском языке. М., 1975.
- Всеволодова, Владимирский 1982 — *Всеволодова М. В., Владимирский Е. Ю.* Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке. М., 1982.
- Иорданская 2004 — *Иорданская Л. Т.* Лингвистика частей тела // Семиотика. Лингвистика. Поэтика. К 100-летию со дня рожд. А. А. Реформатского. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 397–406.
- Крысин 1976 — *Крысин Л. Т.* Опыт лексикографического описания группы одно коренных глаголов (*резать* и его префиксальные производные) // Предварительные публикации Ин-та русского языка АН СССР. М., 1976. Вып. 85, 86.
- Крысин, Ли Ын Ян 1999 — *Крысин Л. Т., Ли Ын Ян.* Логика отношений между частью и целым // Мир языка. Мат-лы конф., посвящ. памяти проф. М. М. Копыленко. Алматы, 1999.
- Крысин, Ли Ын Ян 2000 — *Крысин Л. Т., Ли Ын Ян.* Лексические способы выражения смысла «часть целого» в русском языке // Русистика. Берлин, 2000. № 2. С. 5—21.
- Мельчук 1995 — *Мельчук И. А.* О числительном ПОЛ¹ // *Мельчук И. А.* Русский язык в модели «Смысл – Текст». М.; Вена, 1995. С. 363–371.
- Рахилина 2000 — *Рахилина Е. В.* Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М.: Русские словари, 2000.
- Урысон 1997 — *Урысон Е. В.* Дыра 1 // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1 / Под ред. Ю. Д. Апресяна. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 92–96.
- Якобсон 1985 — *Якобсон Р.* Часть и целое в языке / Пер. с англ. // *Якобсон Р.* Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 301–305.
- Lerner 1963 — *Lerner D.* (ed.). Parts and Wholes. New York; London, 1963.
- Wierzbicka 1972 — *Wierzbicka A.* Semantic Primitives. Frankfurt, 1972.

И. Г. Добродомов, И. А. Пильщиков Из очерков о лексике и фразеологии «Евгения Онегина»

(«*Поди! поди!* раздался крик»).

Восклицание, которое Пушкин воспроизвел в XVI строфе первой главы романа, вызвало неоднозначные суждения. Прежде всего обращают на себя внимание различия в орфографии и пунктуации 2-го стиха в разных источниках текста. В отдельных изданиях первой главы строфа начинается так:

Ужь темно: въ санки онъ садится.
Поди, поди: раздался крикъ;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротникъ.

[Пушкин 1825: 12; 1829: 12]

В сводных изданиях «Евгения Онегина» этот фрагмент отличается от первопечатного только пунктуацией:

Ужь темно: въ санки онъ садится.
«Поди! поди!» раздался крикъ (...)

[Пушкин 1833: 9; 1837: 10]

Однако современные читатели в большинстве своем помнят эти стихи в орфографии большого академического издания, где восклицание *поди!* напечатано через *a*:

Уж темно: в санки он садится.
«Пади! пади!» раздался крик (...)

[Пушкин 1937: 11]

Малое академическое издание также дает написание *пади*:

Уж темно: в санки он садится.
«Пади! пади!» – раздался крик (...)

[Пушкин 1949: 15]

Написание *пади* (через *a*) Б. В. Томашевский перенес в критический текст из рукописей. В черновике мы находим: *Пади, пади (...)* раздался крикъ [ПД № 834, л. 9 об.; ср. Пушкин 1937: 227]; в перебеленном автографе: *Пади, пади! раздался крикъ* – [ПД № 930, л. 9 об.; ср. Пушкин 1937: 446]; в белой копии [ПД № 153, л. 10]: *Пади, поди! раздался крикъ* (рукою Льва Пушкина). На какой стадии работы над текстом возникший в беловике разнобой написаний *пади* и *поди* был унифицирован в пользу написания через *o*, мы не знаем. Весьма вероятно, что поправка принадлежала издателю первой главы «Онегина» П. А. Плетневу а впоследствии была принята Пушкиным: в издании 1833 г. он изменил пунктуацию стиха, но не его орфографию. Это обстоятельство ставит под сомнение текстологическое решение Томашевского, вообще злоупотреблявшего реставрацией рукописных чтений в дефинитивном тексте романа [ср. Чернышев 1941; Шапир 2002].

Первым интересующее нас место прокомментировал В. В. Набоков, который исходил из текста «Онегина» в издании 1837 г., но в ряде случаев учитывал инновации Б. В. Томашевского: «Way, way! /*Padí! padí!* (...) meaning «go», «move», «look out», «away with you»; this *padi* or *podí* used to be the crack coachman's traditional warning cry, aimed mainly at foot passengers» [Nabokov 1964: 70]. Авторитет большого академического издания оказался столь высок, что в одном из русских переводов набоковского труда осторожная оговорка комментатора («this *padi* or *podí* = «это *пади* или *поди*») была попросту проигнорирована: «*"Пади, пади!*

" – означает «пошел!», «ну!» (?), «берегись!», «прочь!». Это был привычный возглас лихачей извозчиков, распугивали им в основном пешеходов» [Набоков 1998: 128].⁷⁶

В своем толковании Набоков опирался на русскую лексикографию, прежде всего на «Словарь языка Пушкина», где обсуждаемое слово дано в написании академических изданий: «**ПАДИ (...)** *Окрик, возглас кучера, предостерегающий пешеходов (при быстрой езде)*» [СП 1959: 266]. Заметим, что дефиниция «Словаря языка Пушкина» не затрагивает внутренней формы слова *пади / поди* и оставляет читателя в недоумении относительно того, собственно, значит этот возглас. Непонятно, согласны ли составители словаря с интерпретацией, предложенной (ими же?) в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова, где у разговорного «**ПОДИ"**, те» с основным значением «*Повелительное) накл(онение) от* пойти; то же, что пойдй» фиксируется еще три значения, и в том числе «4. Крик кучеров в знач(ении) берегись (устар(елое); писалось часто пади)». Иллюстрируют это значение два примера: «*Пади, пади! раздался крик. Пушкин. Тогда тоже не было нынешней глупой манеры кричать: «о!*», как будто у кучера болит что-нибудь, а непонятное (sic!): «*поди, берегись*». Л. Толстой» [ТС 1939: стб. 387–388]. Третий том ушаковского словаря вышел в 1939 г., и, как видим, пушкинская цитата здесь уже дана в орфографии большого академического издания 1937 г. (причем, как ни странно, с пунктуацией рукописного варианта [Пушкин 1937: 446]). Что же касается цитаты из VIII главы толстовского «Холстомера», то иллюстрируемое слово воспроизведено в ней, наоборот, по прижизненному, а не по критическому изданию: в 5-м издании «Сочинений графа Л. Н. Толстого», где впервые была напечатана история лошади по имени Холстомер, *поди* напечатано через о, а в 26-м томе 90-томного (юбилейного) собрания – через а [Толстой 1886: 536; 1928–1936, 26: 25]. Кроме того, обращение к источникам показывает, что цитата в словаре дана с дезориентирующей опечаткой (напечатано: *а непонятное*; должно быть: *а не понятное*) и купирована так, что восстановить по ней исходный смысл практически невозможно. В повести Толстого, где рассказ идет «от лица» заглавного героя – старого мерина Холстомера, соответствующее место читается так:

Наконецъ зашумять въ сѣняхъ, выбѣжить во фракъ сѣдой Тихонъ съ брюшкою: – подавай, тогда не было этой тупой манеры говорить: «впередь», какъ будто я не знаю, что ѣздить не назадъ, а впередь (...) тогда тоже не было нынѣшней глупой манеры, кричать: «О!» какъ будто у кучера болитъ что нибудь, а не понятное: «Подй! берегись». – Подй! берегись, покрикиваетъ Теофанъ и народъ сторонится и останавливается, и шею кривить, оглядываясь на красавца мерина, красавца кучера и красавца барина... [Толстой 1886: 536].

В академическом 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» мы находим следующие изменения по сравнению со словарем Ушакова: 1) пушкинская цитата ориентирована на орфографию и пунктуацию издания 1837 г. (*поди* – через о); 2) из толстовской цитаты выбрана не начальная, а заключительная часть, приведенная по неустановленному источнику (*поди* – через о); 3) из двух написаний вышедшего из употребления слова лишь одно – а именно *поди* – признано устарелым.⁷⁷ Ср.:

Подй́, множественное) подй́те. *Повелительное* от пойти (вместо пойдй). Разг(оворное). 1. Иди, пойдй (...)

⁷⁶ В другом переводе: «"Пади! пади!" (...) означает «прочь!», «с дороги!», «берегись!», «уйди!»; это «пади» или «поди» – традиционный резкий (?) возглас извоз(ч)иков, обращенный главным образом к пешеходам» [Набоков 1999: 73]. Англ. *coachman* следовало бы перевести *кучер*, а не *извозчик*. О русских изданиях набоковского «Комментария» см. [Добродомов, Пильщиков 1999; 2001].

⁷⁷ Возможно, составитель статьи неправильно понял указание ушаковского словаря («устар(елое); писалось часто пади»), где помета «устар(елое)» относится к определяемому значению, а не к написанию *пади*.

2. *Только единственное*). Поди́ и (*устар(елое)*) пади́. Посторонись (с дороги), берегись (предостерегающий окрик кучера). *Уж темно: в санки он садится. «Поди! поди!» раздался крик. Пушк(ин). Е(вгений) О(негин). 1. —Поди! берегись! – покрикивает Феофан, и народ сторонится и останавливается и шею кривит, оглядываясь на красавца-мерина. Л. Толст(ой). Холстомер, 8 [БАС 1960: стб. 374].*

Стоило бы добавить, что окрик *поди! (пади!)* мог исходить не только от кучера, сидящего на козлах, но и от форейтора, как об этом свидетельствуют старшие и младшие современники Пушкина:

Должно знать, что в тѣ времена (в конце XVIII в. – *И. Д., И. П.*) мальчики форейторы кричали *пади* съ громкимъ продолжительнымъ визшмъ и старались выказать этимъ свое молодечество [Греч 1873, № IV: стб. 673; ср. 1930: 136].

Вотъ катится по звонкой мостовой великолѣпная карета, которую мчитъ, какъ вѣтеръ, шестерня лихихъ лошадей; форейторъ кричитъ громко «пади»; сановитый кучеръ съ окладистой бородой ловко править рьяными бѣгунами; двѣ длинныя статуи въ ливреях горделиво стоятъ назади; трескъ, громъ, пыль; м?лкiе экипажи сворачиваютъ, прохожіе бѣгутъ [Белинский 1836: 301].

В академическом издании «Евгения Онегина» ничего не сказано о том, что орфография стиха 1, XVI, 2 в печатных изданиях, вышедших при жизни поэта, отличалась от рукописной; это не раз приводило к недоразумениям. В эпиграф к первой главе «Княгини Литовской» Лермонтов вынес строку: *Поди! – поди! раздался крик!*; под эпиграфом обозначен автор цитаты – Пушкин [Лермонтов 1957: 122]. «Онегинский» стих предвосхищает «печоринскую» сюжетную ситуацию: Печорин едва не задавил чиновника Красинскош; ср.: «Спустясь с Вознесенского моста и собираясь поворотить направо по канаве, вдруг слышит он (чиновник. – *И. Д., И. П.*) крик: «берегись, поди!..» [Лермонтов 1957: 123]. Комментаторы малого академического собрания сочинений Лермонтова, указав источник эпиграфа, опрометчиво «поправили»: «(...) у Пушкина – „Пади, пади!“» [Голованова и др. 1981: 453].

Цитата из «Княгини Литовской» иллюстрирует специальное значение вокабулы *поди* в малом (4-томном) академическом «Словаре русского языка». Вероятно, ввиду нормативного характера словаря из него была исключена альтернативная форма *пади*, а вместе с ней и «сомнительные» цитаты из Пушкина и Толстого. Кроме того, в дефиниции пропало указание на сферу употребления этого кучерско–форейторского восклицания – в словаре оно подано как общенародное:

ПОДИ́. *Прост(оречное) (...) 4. в знач(етии) междом(етiя). Устар(елое).* Окрик, предупреждающий об опасности, в значении: эй! посторонись! *Спустясь с Вознесенского моста —, вдруг слышит он крик: «берегись, поди!».* Лермонтов, Княгиня Литовская. *Все кучера в Туле кричали «берегись!»*, и только кучер полицмейстера кричал «поди!». Вересаев, В юные годы [МАС 1959: 261].

Любопытен отрывок из воспоминаний В. В. Вересаева (1925–1926) – описание тульского полицмейстера Тришатного. Вот ближайший контекст вошедшего в словарь отрывка:

Мчится, снежная пыль столбом, на плечах накидная шинель с пушистым воротником. Кучер кричит: «поди!» Все кучера в Туле кричали: «берегись!», и только кучер полицмейстера кричал: «поди!» Мой старший брат Миша в то время читал очень длинное стихотворение под заглавием «Евгений Онегин». Я случайно как-то открыл книгу и вдруг прочел:

... в санки он садится,
«Поди! поди!» – раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.

Я даже глаза вытарашил от радости и изумления: наш Тришатный! Сразу я узнал. Наверно, сочинитель бывал у нас в Туле [Вересаев 1936: 77].

Итак, составители словаря, понапрасну отказавшись от «онегинского» примера, взяли две «вторичных» цитаты, авторы которых сами отталкивались от пушкинского текста.

Единогласие лексикографы проявили только в области этимологии: словечко *поди* / *пади* все академические словари считают фонетическим преобразованием повелительного наклонения глагола *пойти* (с реализацией безударного [o] в [a] в зоне южно- и средневеликорусского аканья). Этот робкий консенсус попытался нарушить В. В. Виноградов. Мы можем предположить, что в выходявшем под его редакцией «Словаре языка Пушкина» справки о происхождении слова *пади* нет по причине расхождения ученого с господствующей концепцией: по его мнению, *пади* представляет собой императив глагола *пасть*, полностью утративший свое исходное значение и превратившийся в междометие. В посмертно опубликованной заметке об этом слове исследователь, вскользь упомянув (но не назвав прямо) некие «языковые факты, засвидетельствованные на протяжении веков достоверными показаниями» [Виноградов 1994: 442], привел цитату из романа И. И. Лажечникова «Басурман» (ч. II, гл. 3), где якобы изложены «историко-бытовые основы» возникновения окрика *пади*:

У краснова крыльца стояль *тапканъ* (крытая, зимняя повозка)⁷⁸ (...) Когда усадили Ивана Васильевича въ *тапканъ*, который можно было познать за великокняжеской по двуглавному орлу, прибитому къ передку, нѣсколько боярскихъ дѣтей поѣхало верхомъ впередъ, съ возгласомъ: *пади! пади!* (...) Лишь() только слышался громкой возгласъ: *пади!* всё, что шло по улицѣ, въ тотъ-же мигъ скидало шапки и падало наземь. – Этотъ раболѣпный обычай, сказалъ Аристотель своему молодому товарищу, перешоль сюда со многими подобными отъ Татаръ. Владычество ихъ въѣлось сильною ржавчиной въ нравы здѣшніе, и долго Русскимъ не стереть ея [Лажечников 1838: 76–78; ср. Виноградов 1994: 442].

Можно вспомнить еще одну цитату из Лажечникова, где нашли отражение его представления о происхождении возгласа *пади!*: «*Волыи и подгъзжіе* извоштики то-и-дѣло шныряють около шстинаго двора съ отзывомъ Татарскихъ временъ: пади! пади!» [Лажечников 1835: 41]. Роман «Ледяной дом», из которого взята цитата (ч. II, гл. 1) Пушкин читал очень вдумчиво, с большим вниманием к историческим и филологическим деталям.⁷⁹ Тем не менее знакомство с данным фрагментом «Ледяного дома» никак не отозвалось в тексте «Онегина» 1837 г.

Виноградов полагал, что «форейторское и кучерское междометие *пади!* ставшее криком предостережения и утратившее уже к концу XVIII в. свой глагольно– реальный смысл»,

⁷⁸ Ниже в тексте эта же повозка называется *каптанъ* [Лажечников 1838: 82]. Сущ. *каптанъ* «зимний закрытый возок» и *шатана* «боярская повозка» попали в словарь Даля (последнее – с вопросительным знаком) [Даль 1863–1866, ч. II, вып. 7: 705; ч. IV: 356]. По мнению Г. В. Вернадского, слово *шатана* является осетинским заимствованием [Вернадский 1997: 312, примеч. 48]. Слово *каптанъ* М. Фасмер считал темным [Vasmer 1953: 523].

⁷⁹ Свой отзыв о романе (в письме к И. И. Лажечникову от 3 ноября 1835 г.) Пушкин завершил так: «Позвольте сделать вам филологический вопрос, коего разрешение для меня важно: в каком смысле упомянули вы слово хобот в последнем вашем творении и по какому наречию?» [Пушкин 1969: 114, стр. 283 (комментарий Н. Н. Петруниной)].

«с 30—40-х годов XIX в. (...) представлялось лишь изысканно– экспрессивным пережитком, театральным эмоциональным выкриком, – совсем утратившим свое первоначальное значение» [Виноградов 1994: 443]. В доказательство исследователь выписал ряд примеров, где восклицание *пади!* не вызывает никаких ассоциаций с глаголом *пасть*. Ср. у И. И. Панаева в повести «Онагр» (гл. VII):

Однажды (это было в первых числах марта) онагръ ѣхалъ по Гороховой– Улицѣ, а офицеръ съ серебряными эполетами перебѣгалъ черезъ дорогу...

– Пади! закричалъ ему кучеръ онагра.

Офицеръ обернулся.

– А, мон-шеръ, это ты! Же ву салю. Чуть не задавилъ меня... Пстой на минутку... [Панаев 1841: 56].

У него же в очерке «Внук русского миллионера» герой купил коня,

для того, чтобы весь шродъ кричалъ, что у него первый рысакъ и чтобы прохожіе по Невскому разѣвали рты отъ удивленія, когда онъ летаетъ на немъ, сломя голову, а кучеръ его, какъ безумный(,) кричить во все горло: «пади! пади!» Все это, батюшка, дѣлается изъ тщеславія [Панаев 1858: 122].

У А. И. Левитова в «Фигурах и тропах о московской жизни» (1865):

– Па-а-дди пр-роччь! ревнуль на меня съ высоты кѳзель блестящей кареты чудовище-кучеръ, толстый, откормленный и съ бородой, превосходящею всякое описаніе. Па-а-дди, ддьяв-ва-аль! [Левитов 1865: 634].

Выводы В. В. Виноградова полностью приняты в статье «Паді!», опубликованной в «Онегинской энциклопедии» [Невский 2004]. Однако интерпретация собранных Виноградовым материалов легко может быть оспорена: его примеры свидетельствуют, скорее, не о том, что восклицание *пади!* со временем «становилось все более пустым, архаическим» [Виноградов 1994: 443], а о том, что оно употреблялось в соответствии со своей подлинной внутренней формой – в значении «пойди прочь, отойди». Вот еще несколько красноречивых примеров. *Пади* кричат извозчики у А. А. Бестужева (Марлинского) в повести «Испытание» (гл. II) и в рассказе «Страшное гаданье»:

(...) дымящаяся тройка шагомъ пробиралась между тысячами возовъ и пѣшеходовъ, а ухарскій извощикъ, заломивъ шапку на бекрень, стоя возглашалъ «пади, пади!» на обѣ стороны (...) [Марлинский 1830, № XXIX: 134].

Уже было темно, когда мы выѣхали со двора, однакожь улица кипѣла народомъ (...) Молодецъ извощикъ мой, стоя въ заголовкѣ саней, гордо покрикивалъ *пади!* и охорашиваясь кланялся тѣмъ, которые узнавали его, очень доволенъ слыша за собою: «Вонъ нашъ Алѣха катить! Куда соколь собрался?» и тому подобное [Марлинский 1831, № 5: 41].

Ср. в «Тарантасе» В. А. Соллогуба (гл. XVII):

Въ эту минуту, лихая тройка стрѣлой пронеслась мимо Ивана Васильевича. Ямщикъ, весело помахивая кнутомъ, кричалъ «пади», стоя на облучкѣ и подмигивая улыбающимся ему изъ оконъ красавицамъ. Въ телегѣ сидѣлъ какой-то старенькій шсподинъ, въ сѣрой шинели съ краснымъ воротникомъ и въ форменной фуражкѣ [Соллогуб 1845: 231].

У Н. А. Некрасова и Н. Станицкого (псевдоним А. Я. Панаевой) в романе «Три страны света» (ч. I, гл. V):

Сани, дрожки, кареты, коляски, курьерскія тележки тащатся и летятъ своимъ порядкомъ, брызгая грязью; но храбрѣйшіе пѣшеходы отважно мелькаютъ между лошадыми, не смущаясь потрясающими криками кучеровъ (...) Вдругъ раздался женскій визгъ, слившійся съ крикомъ «пади, пади» [Некрасов, Станицкий 1848–1849, № 10: 236].

В воспоминаниях А. М. Достоевского:

Изредка, раза два в месяц, скромная улица Божедомки оглашалась крикомъ фореитора «Пади! Пади! Пади!..» и в чистый двор Мариинской больницы въезжала двухместная карета цугом в четыре лошади и с лакеем на запятках и останавливалась около крыльца нашей квартиры; это приезжали: тетенька Александра Федоровна и бабенка Ольга Яковлевна [Достоевский 1930: 34].

В упомянутой Набоковым [Nabokov 1964: 70] «Истории вчерашнего дня» Л. Н. Толстого (1851):

Было катанье на масляницѣ; сани парами, четвернями, кареты, рысаки, шелковые салоны – всѣ тянулись цѣпью по Кіевской, – пѣшеходовъ кучи. Вдругъ крикъ съ поперечной улицы: «держи, эй, держи лошадь то! Пади, эй!» самоувѣреннымъ голосо[мъ]. Невольно пѣшеходы посторонились, пары и четверни придержали. Чтожъ вы думаете? Оборванный извозчикъ, стоячи на избитыхъ санишкахъ, размахивая надъ головой концами возжей, на скверной клячѣ съ крикомъ продралъ на другую сторону, покуда никто не опомнился [Толстой 1928, 1: 286].

Восклицаніе *пади / пади* могло комбинироваться не только с императивом *берегись*,⁸⁰ но и с другими глагольными формами: *задавлю, раздавлю* (общее значение фразы: «посторонись, а не то задавлю»). Ср. в «Комедии о Фроле Скабееве» Д. В. Аверкиева:

(За сценой бубенцы и свистъ, тройка катить.) (...)

Голось возника *(за сценой.)*

Пади! Пади! Раздавлю! Пади!

Лычиковъ *(за сценой.)*

Стой, стой, говорю!

Голось возника *(также.)*

Не сдержатъ, разскакались!

Лычиковъ.

А ты держи! Возникъ на то!

(Слышны крики: тпру и проч., какъ останавливаютъ лошадей.)

Фроль.

Экъ разогнали – сдержатъ не могутъ!» [Аверкиев 1869: 9]

У М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина) в очерке «Что такое „ташкентцы“?» из цикла «Господа ташкентцы»:

⁸⁰ Ср. еще описание столичной улицы в «Петербургских трущобах» В. В. Крестовского (ч. IV. гл. I): «(...) быстрый топотъ рысаконъ, отовсюду торопливое гомыханіе каретъ, ряды экипажей, „берегись" и „пади" кучеровъ да начальственный крикъ жандармовъ (...)» [Крестовский 1865: 2]. Кстати, такое же акустическое впечатленіе оставял у современниковъ центр Москвы: «Проѣзжай въ полдень мимо Кремля: экипажи Посланниковъ и Генераловъ какъ будто догоняютъ одинъ другой; красивыя коляски, въ коихъ сидятъ разряженныя дамы, мчатся по дурной, пескомъ усыпанной мостовой; со всѣхъ сторонъ слышишь громогласное: *пади!*» [Ушаков 1829: 45; Невский 2004: 245].

Я вижу людей, работающих въ пользу идей несомнѣнно скверныхъ и поганыхъ, и сопровождающихъ эту работу возгласомъ: пади! задавлю! и вижу людей, работающихъ въ пользу идей справедливыхъ и полезныхъ, и тоже сопровождающихъ свою работу возгласомъ: пади! задавлю! Я не вижу рамокъ, тѣхъ драгоценныхъ рамокъ, въ которыхъ хорошее могло бы упразднить дурное безъ заушеній, безъ возгласовъ, обѣщающихъ задавить [Щедрин 1869: 194].

Наконец, императив *пади / поди* оказывается синонимичным восклицаниям с обстоятельственными конструкциями типа *в сторону, к стороне* (общее значение фразы: «отойди в сторону»). Так, в переводе I тома романа Л-С. Мерсье «Картина Парижа», сделанном А. А. Нартовым, французский кучерский окрик *gare!* «берегись» (императив от *garer* «укрывать, отводить в сторону»; ср. *se garer* «сторониться»), передается как *пади! икъ сторону*:

Что дѣлать? Лучше слушать, когда кричать, пади! пади! или къ сторонѣ! къ сторонѣ!⁸¹ Но наши молодые фаетоны, велятъ кричать слугамъ позади кабрюлетовъ. Господинъ опрокидаетъ тебя, слуга кричитъ послѣ изъ всего горла, и съ мостовой встаетъ тотъ, кто можетъ [Мерсье 1786: 107].⁸²

Ассоциацию «*пади / поди – пойти*» В. В. Виноградов объясняет так: «В печатных произведениях это междометие иногда передавалось не формой *пади*, а формой *поди!* (от глагола *пойти*). Это была новая «народная этимология» возгласа, который уже никого не призывал пасть (...) а мог лишь побуждать отойти или шархнуться в сторону». «От возгласа *пади* давно никто не падал, и связь этого междометия с глаголом *пасть* давно разорвалась. Естественно, что некоторые готовы были понять этимологическую природу этого выражения на основе глагола *пойти* (в сторону)» [Виноградов 1994: 443–444].⁸³ На наш взгляд, однако, дело обстоит диаметрально противоположным образом: предположение о связи восклицания *пади / поди* с глаголом *пасть* – явный случай Volksetymologie, плод художественной фантазии Лажечникова-романиста. Нельзя же, в самом деле, всерьез считать исторические романы «достоверными показаниями!» А между тем другие материалы плохо увязываются с гипотезой Лажечникова. Следует оговориться, что ей поверил еще один филолог-пушкинист – Ю. Н. Тынянов. В романе «Пушкин» он так описывает встречу няни годовалого Александра с императором Павлом:

Он смотрел в упор на няньку серыми бешеными глазами и тяжело дышал на морозе. Руки, сжимавшие поводья, и широкое лицо были красные от холода.
– Шапку, – сказал он хрипло и взмахнул маленькой рукой.
Тут еще генералы, одетые невпример богаче, наехали.
– Пади!
– На колени!
– Картуз! Дура!
Тут только Арина повалилась на колени и сдернула картуз с барчука [Тынянов 1936: 49].

В источнике – пересказанном П. В. Анненковым анекдоте из детства поэта – никакого «пади» нет:

⁸¹ В оригинале: «*Que faire? Bien écouter quand on crie, gare! gare!*» [Mercier 1782: 69].

⁸² Ср. также: «(...) идешь и ужь воображаешь себя миллионеромъ, пока встрѣчный толчокъ или громкое *пади!* не заставятъ свернуть въ сторону и не разрушатъ воздушныхъ замковъ» [Кокорев 1852, № 15: 59; БАС 1960: стб. 374].

⁸³ Небезынтересно, что в пушкинском стихе, вынесенном в эпиграф к заметке, обсуждаемое восклицание дано в написании *поди* [Виноградов 1994: 442]. Ни сам исследователь, ни редакторы его книги «История слов», где была опубликована заметка, никак не комментируют данное обстоятельство.

Няня его встрѣтилась на прогулкѣ съ шсударемъ Павломъ Петровичемъ и не успѣла снять шапочку или картузь съ дитяти. Государь подошелъ къ нянѣ, разбранилъ за нерасторопность и самъ снялъ картузь съ ребенка, что и заставило говорить Пушкина впоследствии, что сношенія его со дворомъ начались еще при императорѣ Павлѣ [Анненков 1873: 24].⁸⁴

Таким образом, у нас нет оснований отказываться от представления о фонетической и графической трансформации *пойди* → *поди* → *пади*.⁸⁵ А. И. Соболевский обратил внимание на то, что [j] выпадает перед согласным в письменных памятниках начиная с XII в.; формы *подуче*, *поде* (из *пойдуче*, *пойде*) обнаружены в Лаврентьевской летописи 1377 г.; интересующая нас форма *поди* (*въ баню*) встречается в Прологе 1432 г. [Соболевский 1897, № 5: 48; 1910: 127]. Хотя произношение без [j] носит преимущественно просторечный характер, уже в пушкинское время «въ повелительномъ наклоненіи сокращенный формы: (...) *поди*, *подите*, чаще допускаются и въ литературномъ языкѣ, при считающихся болѣе правильными книжныхъ: (...) *пойди*, *пойдите*» [Чернышев 1915: 242]. Второй этап преобразования (*поди* → *пади*) является результатом акающего произношения и его графической фиксации.

Интеръективное *поди* отражает «явление ослабления и полной утраты глагольной формой в пов(елительном) накл(онении) ее функции и соответственного перехода в наречие и частицы» [Обнорский 1953: 170], а также в экскламатив. Параллельно с «ослаблением» значения ослабляется артикуляция, происходит дальнейшая редукция аллегрформы (*подѣ*, *падѣ*):

Аркадій Ивановичъ хотѣлъ прямо броситься Васѣ на шею, но такъ-какъ они переходили улицу, и почти надъ ушами ихъ раздалось визгливое «Падь-падь-пади!» – то оба(,) испуганные и взволнованные, добѣжали бѣгомъ до тротуара [Достоевский 1848: 422].

Аналогичную трансформацию претерпевает выкрик *берегись!*:

(...) и только задомъ-то выползь (из коляски. – *П. Д.*, *П. П.*) и ступилъ на мостовую, какъ вдругъ слышу: «б-гись!» и мимо самой моей спины пролетѣла пара вороныхъ лошадей въ коляскѣ (...) [Лесков 1876: 375].

Ударный слог выкрика можно было растягивать. Ровесник и знакомец Пушкина и Мицкевича Осип Пржецлавский вспоминал 1820-е годы:

(...) все что было аристократія или претендовало на аристократію, ѣздило въ ка ретахъ и коляскахъ четвернею, цугомъ, съ форейторомъ. Для хорошаго тона (...) требовалось, чтобы форейторъ былъ(,) сколь можно, маленькій мальчикъ, притомъ, чтобы обладалъ одною, насколько можно, высокою нотой голоса, даже выше груднаго и покойнаго Рубини. Ноту эту, со звуком и!... означущимъ сокращенное «поди», онъ долженъ быть издавать безъ умолку и тянуть какъ можно долѣе, напримѣръ отъ Адмиралтейства до Казанскаго моста. Между мальчиками-форейторами завязывалось благородное соревнованіе, кто кого перекричитъ, и когда вы шли по Невскому проспекту, то у васъ въ ухахъ постоянно пищало это нескончаемое «и...!» [Пржецлавский 1874, кн. XI: 469–470; Лотман 1980: 141–142].

⁸⁴ Ср. в изложении самого Пушкина (в письме к жене от 20 и 22 апреля 1834 г.): «Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку (...)» [Пушкин 1969: 36].

⁸⁵ Вряд ли можно согласиться с предположением Н. М. Шанского, что возглас кучера *пади* «является разговорной аллегрформой из *проходи*» [Шанский 1999: 210].

У Лескова во 2-й главе «Очарованного странника» более сложный выкрик («поди ты прочь»?) редуцирован до ударных слогов:

А мнѣ въ ту пору, какъ я на фореиторскую подсѣдельную сѣль, было еще всего одиннадцать лѣтъ и голосъ у меня былъ настоящій такой, какъ по тогдашнему приличію для дворянскихъ фореиторовъ требовалось: самый пронзительный, звонкій и до того продолжительный, что я могъ это «ддиди-и-и-ттты-о-о» завести и полчаса этакъ звенѣть [Лесков 1874: 17].

Скандироваться мог и безударный слог выкрика; тогда качество его гласного воспринималось как побочное ударение [Пеньковский 2004: 442]:

– Па-ади! Или ие видишь, мазурикъ! облаяль счастливца (...) надменный кучеръ съ высоты быстро катившей щегольской кареты, подъ колеса которой чуть не попалъ нашъ Кавказецъ перебѣгая съ тротуара на тротуаръ у Почтамтскаго переулка [Маркевич 1880, № 2: 527].

Въ большіе годовые праздники по главнымъ улицамъ столицы нерѣдко мчались огромныя, роскошныя кареты четверкою откормленныхъ тысячныхъ коней, съ мальчикомъ-форрейторомъ впереди, звонко оравшимъ во все горло: «па-а-ди!» (...) [Сорокин 1909: 399].

На письме такой слог мог обозначаться с помощью знака ударения, как в цитированном выше примере из «Онагра» («– Па́ди! закричалъ ему кучеръ онагра» [Панаев 1841: 56]). Ср. также:

На поворотѣ съ Невскаго проспекта, надъ самымъ ухомъ Ижорина, раздалось громкое «па́ди!» и его чуть не сшибло съ ногъ [Колошин 1850, № 9: 49].

В следующем примере из «Русских женщин» Некрасова гравис, несомненно, обозначает появление дополнительного ударения, а не сдвиг основного:

А секретарь отца, – (въ крестахъ,
Чтобъ наводитъ дорогой страхъ),

Съ прислугой скачетъ впереди...
Свища бичомъ, крича: «па́ди!»
[Некрасов 1872: 579]⁸⁶

Более чем вероятно, впрочем, что многие авторы принимали побочное ударение за главное (ср. пример из Мятлева в примеч. 12). В свой «Толковый словарь живого великорусского языка» Даль включил s. v. *пойти* три формы кучерского окрика — *поди́*, *подѣ* и *па́ди*:

Па́ди, поди́! берегись, прочь, крикъ кучера. *Какъ проѣхалъ Поды* (д(е)р(е)вн(я) орл(овской) губ(ернии)), *такъ и подѣ да поди́* \ [Даль 1863–1865, ч. III: 215].

Это решение не вызвало сочувствия у И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. В своем издании словаря Даля он вынес в отдельную статью императив *поди́* в значении наречия и междометия (с отсылкой к *пойти*), изменил место ударения в *пади* («*поди́*, **пади́!** берегись, прочь, крикъ кучера» [Даль 1907: стб. 447]) и сделал пословицу про Поды иллюстрацией другого значения

⁸⁶ Ср. у Некрасова ту же форму без диакритики: *Торжествую конецъ ожиданія, Н Кучера завопили «пади!» //Все спѣшитъ. Ну старикъ, до свиданія – // Коли нужно идти, такъ иди!!!* [Некрасов 1859: 512]. Однако у Мятлева в «Госпоже Курдюковой»: *Люди впереди и сзади; Н Не кричит он: «Пади, пади!» Н Лишь бичам на воздухъ бьет* (...) [Пеньковский 2004: 442].

глагола *пойти* («**Подь сюда!** поди» [Даль 1907: стб. 611]). В отличие от большинства других случаев, эти изменения не отмечены в бодуэновском издании знаком редакторского вмешательства: возможно, Бодуэн считал сдвинутое ударение следствием обычного недосмотра. Но Даль явно рассматривал звук [а] в *пади* как ударный: например, в статье «О наречиях русского языка» он отмечает, что «въ *Щиграхъ* (...) вѣжливый извозчикъ кричить, вмѣсто пади, *примі-теся*» [Даль 1852: 48; 1863–1865, ч. I: XLIV],

Итак, для стирания исходного значения у кучерского выкрика *поди / пади* не было исторических условий, но зато вскоре возникли условия, приведшие к исчезновению самого междометия. Как пишет В. В. Виноградов, «под влиянием все более возрастающей демократизации быта, с одной стороны, и перехода от извозчиков к трамваям и автомобилям – с другой, в конце XIX в. это профессионально-кучерское междометие отмирает, утрачивается» [Виноградов 1994: 444]. Для новых поколений бытовое слово превратилось в литературное. Хороший пример – сцена из «Кондуита и Швамбрании» Л. Кассиля, где юный герой, вознамерившийся без разрешения прокатиться в санках, пытается остановить разогнавшуюся лошадь:

Я стал припоминать все известные мне обращения к лошадям, все лошадиные слова, которые только знал по книжкам.

– Тпру, тпру! Стой, ми-ла-ай!.. Не балуй, касатик!

Но, как назло, на ум лезли все какие-то выражения былинного склада: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок», или совсем пошнотельные слова, вроде: «Эй, шевелись... Поди-берегись!.. Ну, мертвая!.. Эх, распошел!..»

Используя все известные мне лошадиные слова, я перешел на верблюжий язык [Кассиль 1965: 136].

С новым определением не такое уж редкое междометие *пади* почему-то попало в академический словарь-справочник «Редкие слова в произведениях авторов XIX века»: «Возглас, подаваемый скороходом или кучером экипажа пешеходам для предостережения при быстрой езде» [Рогожникова 1997: 297]. Откуда взялся загадочный скороход, можно понять, проглядев короткий ряд примеров, который завершается цитатой из романа А. Н. Толстого «Петр Первый» (кн. I, гл. III, § 6): «(...) впереди коней бегут в белых кафтанах скороходы, крича: „Пади! пади!“ (...)» [Толстой 1930: 125]. После «Петра» царские скороходы, кричащие *пади*, появились в других советских исторических романах – в тыняновском «Пушкине» (1936) и в «Хозяине каменных гор» Е. А. Федорова (1951). Однако следует признать, что перед нами вновь не исторический факт, а художественный вымысел, неправомерно положенный в основу научной дефиниции. Так некогда обыденное слово полностью утратило свою семантику и прагматику и вышло из употребления, сохранившись только в письменных текстах: *habent sua fata verba*.

Литература

Аверкиев 1869 — *Аверкиев Д.* Комедия о российском дворянине Фроле Скабееве и стольничей, Нардын-Нащокина, дочери Аннушке // *Заря*. 1869. № 3. С. 1—129 (отдельной пагинации).

Анненков 1873 — *Анненков 77.* Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху: По новым документам. [I–III] // *Вестник Европы*. Т. VI (44). 1873. № 11. С. 5—69.

БАС 1960 – Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1960. Т. 10.

Белинский 1836 – Белинский В. [Рец. на:] Святочные вечера, или Рассказы моей тетушки. М., 1835. Кн. I–II; О жителях Луны и о других достопримечательных открытиях, сделанных астрономом Сир-Джоном Гершелем, во время пребывания его на Мысе–Доброй-Надежды / Пер. с нем. СПб., 1836; *Фигие 77.* Бедность и любовь / Пер. с франц. СПб., 1836; *Гофман [Э.-Т.-А.]*. Черный паук, или Сатана в тюрьме: Фантастико-волшебная повесть

небывалого столетия / Переделанная с нем. А. Пр—ом. М., 1836 // Молва. Т. XI. 1836. № 11. С. 300–313. Подпись: (В. Б.).

Вересаев 1936 — *Вересаев В.* Воспоминания. М., 1936.

Вернадский 1997 — *Вернадский Г. В.* Россия в средние века / Пер. с англ. Е. П. Беренштейна, Б. Л. Губмана, О. В. Строгановой. Тверь; М., 1997.

Виноградов 1994 — *Виноградов В. В.* История слов: около 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними связанных. М., 1994.

Голованова и др. 1981 — *Т. П. Голованова, Л. 77. Назарова, Э. Э. Найдич, 77. А. Хмельевская, 77. С. Чистова, Б. М. Эйхенбсгум.* Примечания // М. Т. О. Лермонтов. Собрание сочинений: В 4 т. 2-е изд., испр. и доп. Т. 4: Проза; Письма. Л., 1981. С. 433–521.

Греч 1873 — *Греч Н. 77.* Записки. Книга первая [1849–1865] // Русский Архив. 1873. № II, стб. 225–341, № IV, стб. 673–735.

Греч 1930 — *Греч 77. 77.* Записки о моей жизни / Текст по рукописи под ред. и с коммент. Иванова-Разумника и Д. М. Пинеса. М.; Л., 1930.

Даль 1852 — *Даль В. II.* [Рец. на:] Опыт Областного Великорусского Словаря, изданный Вторым Отделением Императорской Академии Наук, С. Петербург 1852 // Вестник Императорского Русского Географического Общества. 1852. Ч. VI, кн. I (V), отд. IV, с. 1–72.

Даль 1863–1866 — *Даль В. II.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1863. Ч. I; 1863. Ч. II, вып. 7; 1865. Ч. III; 1866. Ч. IV.

Даль 1907 — *Даль В. II.* Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е изд., испр. и значительно доп. / Под ред. проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. СПб.; М., 1907. Т. 3.

Добродомов, Пильщиков 1999 — *Добродомов И. Г., Пильщиков И. А.* [Рец. на:] *В. Набоков.* Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ.; Науч. ред. и автор вступит, ст. В. П. Старк. СПб., 1998; *В. Набоков.* Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина / Пер. с англ.; Под ред. А. Н. Николюкина. М., 1999 // *Philologica.* Т. 5. 1999. № 11/13. С. 403–424.

Добродомов, Пильщиков 2001 — *Добродомов И. Г., Пильщиков И. А.* Набоковский «Онегин»: визит на родину // Московский пушкинист. Вып. IX. М., 2001. С. 59–66.

Достоевский 1930 — *Достоевский А. М.* Воспоминания / Ред. и вступит, ст. А. А. Достоевского. Л., 1930.

Достоевский 1848 — *Достоевский Ф.* Слабое сердце: Повесть // Отечественные записки. Т. LVI. 1848. № 2, отд. I. С. 412–446.

Кассиль 1965 — *Кассиль Л.* Собрание сочинений: В 5 т. М., 1965. Т. 1.

Кокорев 1852 — *Кокорев И.* Савушка: Рассказ // Москвитянин. Т. IV. 1852. № 15, отд. I. С. 49–92; № 16, отд. I. С. 121–176. Колошин 1850 — *Колошин С. П.* Ваш старый знакомый: Повесть // Москвитянин. Т. III. 1850. № 9, отд. I. С. 21–68; № 10, отд. I. С. 82–132. Крестовский 1865 — *Крестовский В. В.* Петербургские трущобы: Роман в шести частях. Часть четвертая: Заключение // Отечественные записки. 1865. Т. CLX. № 9, отд. I. С. 1–70.

Лажечников 1835 — *Лажечников И. П.* Ледяной дом. М., 1835. Ч. II. Лажечников 1838 — *Лажечников И. П.* Басурман. М., 1838. Ч. II.

Левитов 1865 — *Левитов А. П.* Фигуры итропы о московской жизни // Искра. 1865. № 46. С. 600–610; № 47. С. 630–634. Подпись: Иванъ Петровъ Сизой. Лермонтов 1957 — *Лермонтов А. Ю.* Сочинения: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6: Проза, письма. Лесков 1874 — *Лесков Н. С.* Очарованный странник: Рассказ. СПб., 1874. Лесков 1876 — *Лесков Н.* Три добрые дела: (Из былого) // Гражданин. № 14. 1876, 3 апреля. С. 372–376.

Лотман 1980 — *Лотман Ю. А. И.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1980.

Маркевич 1880 — *Маркевич Б.* Перелом: Правдивая история. [Часть первая] // Русский вестник. 1880. № 2. С. 507–611; № 3. С. 125–204; № 5. С. 72–126.

Марлинский 1830 — *Марли некий А.* [= А. А. Бестужев]. Испытание // Сын Отечества и Северный Архив. 1830. № XXIX. С. 117–143; № XXX. С. 181–215; № XXXI. С. 245–268; № XXXII. С. 309–349. Подпись: А. М. 1830 Мая. Дагестань.

Марлинский 1831 — *Марлинский А.* [= А. А. Бестужев]. «Страшное гаданье: Рассказ» // Московский Телеграф. Ч. 38. 1831. № 5. С. 36–65; № 6. С. 183–210. Подпись: *Александръ Марлинскій.* 1830 г. Дагестань.

МАС – Словарь русского языка: В 4 т. Т. 3. М., 1959.

Мерсье 1786 — [*Мерсье Л.-С.*] Картина Парижа / Перевод А. А. Нартова. СПб., 1786. Т. I.

Набоков 1998 — *Набоков В.* Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ.; Науч. ред. и автор вступит, ст. В. П. Старк. СПб., 1998.

Набоков 1999 — *Набоков В.* Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина / Пер. с англ.; Под ред. А. Н. Николюкина. М., 1999. Невский 2004 — *Невский А. Я.* Пади! // Онегинская энциклопедия. М., 2004. Т. II: Л—Я; А—Z, 245.

Некрасов 1859 — *Некрасов Н.* О погоде: (Вступление к сатирам): II. До сумерек // Современник. 1859. Т. LXXIII, № II, отд. I. С. 507–512.

Некрасов 1872 — *Некрасов Н.* Русские женщины. Княгиня Т***: Поэма // Отечественные записки. 1872. Т. ССI, № 4, отд. I. С. 577–600.

Некрасов, Станицкий 1848–1849 — *Некрасов Н., Станицкий Н.* [= А. Панаева]. 1848–1849. Три страны света: Роман в восьми частях // Современник. 1848. Т. XI. № 10, отд. I. С. 169–274; Т. XII. № 11, отд. I. С. 39–148; № 12, отд. I. С. 307–410; 1849. Т. XIII. № 1, отд. I. С. 165–274; № 2, отд. I. С. 315–418; Т. XIV. № 3, отд. I. С. 107–230; № 4, отд. I. С. 279–380; Т. XV. № 5, отд. I. С. 73–172.

Обнорский 1953 — *Обнорский С. П.* Очерки по морфологии русского глагола. М., 1953. Панаев 1841 — *Панаев П.* Онагр // Отечественные записки. Т. XVI. 1841. № 5, отд. III. С. 3–71.

Панаев 1858 — *Панаев П.* Внук русского миллионера: Листки из моих петербургских воспоминаний // Современник. Т. LXX. 1858. № 7, отд. I. С. 109–182.

Пеньковский 2004 — *Пеньковский А. Б.* Слоговая сегментация речи в функционально-семантическом аспекте // *Пеньковский А. Б.* Очерки по русской семантике. М., 2004. С. 429–448.

ПД – Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом). Рукописный отдел (СПб.), ф. 244 (А. С. Пушкин), он. 1.

Пржепдавский 1874 — *Пржепдавский О. А.* Воспоминания // Русская Старина. 1874. Т. XI. Кн. XI. С. 451–477; Кн. XII. С. 665–698.

Пушкин 1825 — *Пушкин А.* Евгений Онегин: Роман в стихах. СПб., 1825 [гл. I].

Пушкин 1829 — *Пушкин А.* Евгений Онегин: Роман в стихах. Гл. I [2-е изд.]. СПб., 1829.

Пушкин 1833 — *Пушкин А.* Евгений Онегин: Роман в стихах. 2-е изд. СПб., 1833.

Пушкин 1837 — *Пушкин А.* Евгений Онегин: Роман в стихах. 3-е изд. СПб., 1837.

Пушкин 1937 — *Пушкин А.* Полное собрание сочинений. Т. 6: Евгений Онегин. М.; Л., 1937.

Пушкин 1949 — *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1949. Т. V: Евгений Онегин; Драматические произведения.

Пушкин 1969 — *Пушкин А. С.* Письма последних лет. 1834–1837. Л., 1969.

Рогожникова 1997 — *Рогожникова Р. П.* Редкие слова в произведениях авторов XIX века: Словарь-справочник / Отв. ред. Р. П. Рогожникова. М., 1997.

Смирнов-Сокольский 1962 — *Смирнов-Сокольский Н.* Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962.

Соболевский 1897 — *Соболевский А. П.* Из истории русского языка // ЖМНП. 1897. Ч. СССXI. № 5. С. 44–59; Ч. СССXIV. № 11. С. 61–69.

- Соболевский 1910 — *Соболевский А. И.* Мелкие заметки по славянской и русской фонетике // *Русский Филологический Вестник*. Т. 64. 1910. С. 102–149.
- Соллогуб 1845 — *Соллогуб В. А. граф*. Тарантас: Путевые впечатления. СПб., 1845.
- Сорокин 1909 — *Сорокин Вл.* Из воспоминаний о крепостном праве // *Русская Старина*. Т. СXXXVII. 1909. Кн. II. С. 399–423.
- СП 1959 – *Словарь языка Пушкина*: В 4 т. М., 1959. Т. III.
- Толстой 1886 — *Толстой Л. Н., граф*. Сочинения. 5-е изд. М., 1886. Ч. III.
- Толстой 1928–1936 — *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений. Сер. 1: Произведения. Юбилейное издание. М.; Л., 1928. Т. 1; М., 1936. Т. 26.
- Толстой 1930 — *Толстой А.* Петр Первый: Роман. Л., 1930.
- ТС 1939 – *Толковый словарь русского языка* / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1939. Т. III.
- Тынянов 1936 — *Тынянов Ю.* Пушкин. Л., 1936. Ч. I/II.
- Ушаков 1829 — *Ушаков В. А.* Киргиз-кайсак // *Московский Телеграф*. Ч. XXVIII. 1829. № 13. С. 35–56. (Подпись: В. У.)
- Чернышев 1915 — *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи: Опыт русской стилистической грамматики. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1915. Вып. 2: Части речи.
- Чернышев 1941 — *Чернышев В. И.* Замечания о языке и правописании А. С. Пушкина: (По поводу академического издания) // *Пушкин: Временник Пушкинской комиссии*. М.; Л., 1941. [Вып.] 6. С. 433–461.
- Шанский 1999 — *Шанский Н. М.* По следам «Евгения Онегина»: Краткий лингвистический комментарий *ПА. С. Пушкин*. Евгений Онегин: Роман в стихах. М., 1999.
- Шапир 2002 — *Шапир М. И.* «Евгений Онегин»: проблема аутентичного текста // *ИАН СЛЯ*. Т. 61. 2002. № 3. С. 3–17.
- Щедрин 1869 — *Щедрин Н.* [= *М. Е. Салтыков*] Что такое «ташкентцы»? Отступление // *Отечественные записки*. Т. CLXXXVII. 1869. № 11, отд. I. С. 187–207.
- Mercier 1782 — [*Mercier L.-S.*]. *Tableau de Paris*. Nouvelle édition, corrigée et augmentée. Amsterdam, 1782. Т. I.
- Nabokov 1964 — *Nabokov V A.* Pushkin. Eugene Onegin: A Novel in Verse / Transl. from the Russian, with a Commentary, by V. Nabokov. New York, 1964. Vol. 2 (= Bollingen Series; LXXII).
- Vasmer 1953 — *Vasmer M.* *Russisches etymologisches Wörterbuch*. Heidelberg, 1953. 1. Bd.

Д. М. Магомедова, Н. Д. Тамарченко Демонические городские локусы в литературе русского символизма

В 1908 году Александр Блок, рисуя в статье «Три вопроса» портрет эпитгона символистской школы, иронически писал: «... Он – яростный поклонник нового искусства, он считает представителей его своими учителями, он заразился их „настроениями“, (...) он видит в городе – „дьявола“, а в природе – „прозрачность“ и „тишину“⁸⁷»

Очевидно, что демонизация города уже в конце 1900-х годов воспринималась как «общее место» символистской культуры. В современной науке эта тема активно обсуждалась в исследованиях «петербургского» и – в более общем плане – «городского» текста, а также в аспектных статьях, посвященных тому или иному писателю.⁸⁸ В качестве источников и типологических параллелей обычно называются имена и произведения А. С. Пушкина (в первую очередь «Медный всадник»), Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, реже Н. А. Некрасова, а также французских символистов – Ш. Бодлера (особенно стихотворный цикл «Парижские картины»), Э. Верхарна (сборник «Города-спруты»), П. Верлена, А. Рембо.⁸⁹ Однако среди многочисленных работ, изучающих признаки «городского текста», недостает описаний ценностной и функциональной роли отдельных локусов, вычленяемых из общего городского пространства.

Поясним: речь в данном случае пойдет не о конкретной городской топографии (Невский проспект, Летний сад, Канавка, Мойка, Исакий, Арбат, Нескучный сад, Новодевичий монастырь и т. п.) и не о том, на каком из петербургских каналов может находиться аптека, упомянутая в знаменитом стихотворении Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека...», хотя такие исследования литературной топографии чрезвычайно интересны и полезны. Проблема поставлена иначе: можно ли установить, какие городские локусы чаще всего оказываются у символистов средоточием инфернального начала, независимо от того, в каком именно городе они находятся? И какие мотивы, структурные признаки, особенности сюжета превращают тот или иной городской локус в демонизированный? И насколько традиционно такое демонизированное восприятие тех или иных локусов?

Материалом для исследования будут служить произведения В. Я. Брюсова, И. Ф. Анненского, К. Д. Бальмонта, А. А. Блока, Андрея Белого.

Демонизированные локусы в городской панораме

Прежде всего обратим внимание на тексты, создающие обобщенный панорамный портрет города. Так, в стихотворении В. Я. Брюсова «Городу» с подзаголовком «Дифирамб» (1907) город, несомненно, описан как мифологическое злое существо (он последовательно назван «чарователем», «драконом» и «коварным змеем»). При этом в городском пространстве выделены фабрики, дворцы, храмы. Но храмы в этом перечне – отнюдь не церковные сооруже-

⁸⁷ Блок А. А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л... 1962. Т. 5. С. 236.

⁸⁸ См.: Анциферов Н. П. «Непостижимый город...». Л., 1991; Максимов Д. Е. Брюсов. Поэзия и позиция // Максимов Д. Е. Русские поэты начала века. Л., 1986. С. 113–143; Орлов В. Н. Поэт и город // Орлов В. Н. «Здравствуйте, Александр Блок». Л., 1984. С. 216–418; Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» // Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы. СПб., 2003. С. 7–118; Хансен-Леве А. Русский символизм: Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб., 1999. С. 299–309; Москва и «Москва» Андрея Белого. М., 1999. Мицц З. Е. Безродный М., Дашилевский А. «Петербургский текст» и русский символизм // Мицц З. Б. Поэтика русского символизма. СПб... 2004. С. 103–115 и др.

⁸⁹ См. комментарий к стихотворному циклу Блока «Город»: Блок А. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. М... 1997. Т. 2. С. 716–724.

ния, а перифрастическое обозначение мест для развлечений, библиотек и картинных галерей (курсив мой. – Д. М.):

Царя властительно над долом,
Огни вонзая в небосклон,
Ты труб фабричных частоколом
Неумолимо окружен.

Стальной, кирпичный и стеклянный,
Сетями проволок обвит,
Ты – чарователъ неустанный,
Ты – не слабеющий магнит.

Драконом, хищным и бескрылым,
Засев – ты стережешь года,
А по твоим железным жилам
Струится газ, бежит вода.

<.....>
Ты, хитроумный, ты, упрямый,
Дворцы из золота воздвиг,
Поставил праздничные храмы
Для женщин, для картин, для книг;

И в ночь, когда в хрустальных залах
Хохочет огненный Разврат,
И нежно пенится в бокалах
Мгновений сладострастных яд, —

Ты гнешь рабов угрюмых спины,
Чтоб, исступленны и легки,
Ротационные машины
Ковали острые клинки.

Коварный шей с волшебным взглядом!
В порыве ярости слепой,
Ты нож, с своим смертельным ядом,
Сам поднимаешь над собой.

Особенно важно отождествление «хрустальных залов» и «огненного Разврата». Скорее всего, речь идет о *ночных ресторанах, публичных домах* и, может быть, *балах* или *маскарадах*. Тот же перечень, включающий *фабрики* и места ночного «разврата», Брюсов дает в стихотворении «Ночь» (1902) (см. ниже). В «городских» стихах А. А. Блок вслед за Брюсовым также выделяет рестораны («кабаки») и публичные дома:

Веселье в ночном кабаке,
Над городом синяя дымка.
Под красной зарей вдалеке
Гуляет в полях Невидимка.
<.....>

Вам сладко вздыхать о любви,
Слепые, продажные твари?
Кто небо запачкал в крови?
Кто вывесил красный фонарик?

(А. А. Блок. Невидимка)

У Андрея Белого в стихотворении «Пир» к этому перечню добавляется еще *игорный дом*:

Проходят толпы с *фабрик* прочь.
Отхлынули в пустые дали.
Над толпами знамена в ночь
Кровавою волной взлетали.
<.....>
В «*Aquarium'e*» с ней шутил
Я легко и метко.
Свой профиль теневой склонил
Над сумасшедшею рулеткой...

Каждый из выявленных демонизированных городских локусов встречается в целом ряде стихотворных текстов. В некоторых стихотворениях именование локуса вынесено в заглавие: «Маскарад» А. Белого, «После бала» К. Д. Бальмонта, заглавие «В ресторане» используют и В. Я. Брюсов, и А. А. Блок, «Трактир жизни» И. Ф. Анненского, заглавие «В игорном доме» дважды встречается у В. Я. Брюсова, «Фабрика» А. А. Блока, «В публичном доме» В. Я. Брюсова. В других текстах заглавие отсутствует или не указывает на пространственный локус, но его роль в стихотворении очень важна, именно демонизированный локус определяет его временную и мотивную структуру, сюжетные ситуации.

Временные границы демонического хронотопа

Сквозной просмотр «городских» стихотворений позволяет выделить ряд устойчивых повторяющихся мотивов, связанных с урбанистической демонологией. Наиболее важным и общим **рамочным** мотивом оказывается **чередование времени суток**: наступление ночи и пробуждение демонических сил или, напротив, наступление утра и временное их исчезновение или маскировка.

Так, стихотворение В. Я. Брюсова «Ночь» (1902) начинается именно с такого пробуждения ночных сил:

Горящее лицо земля
В прохладной тени окунула.
Пустеют знойные поля,
В столицах молкнет песня гула.

*Идет и торжествует мгла,
На лампы дует, гасит свечи,
В постели к любящим легла
И властно их смежила речи.*

*Но пробуждается разврат.
В его блестящие приюты*

*Сквозь тьму, по улицам, спешат
Скитальцы покупать минуты...*

С такого же пробуждения демонической магии на границе дня и ночи начинается стихотворение А. А. Блока «Петр» (1904):

Он спит, пока закат румян.
И сонно розовеют латы.
И с тихим свистом сквозь туман
Глядится Змей, копытом сжатый.

Сойдут глухие вечера,
Змей расклубится над домами.
В руке протянутой Петра
Запляшет факельное пламя.

Стихотворение Блока «Песнь Ада» (1909), написанное дантовскими терцинами, начинается с перехода не только временной, но и пространственной границы: именно с завершением дня начинается спуск в инфернальное пространство:

День догорел на сфере той земли,
Где я искал путей и дней короче.
Там сумерки лиловые легли.

Меня там нет. Тропой подземной ночи
Схожу, скользя, уступом скользких скал.
Знакомый Ад глядит в пустые очи.

Фиксация обратного перехода пространственно-временной границы – от ночи к рассвету, утру, от разгула демонических сил к их временному успокоению – чаще всего совпадает с финалом, как в стихотворении К. Д. Бальмонта «После бала» (курсив мой. – ДМ):

*Да, полночь отошла с своею пышной свитой
Проникновеннейших мгновений и часов,
От люстры здесь и там упал хрусталь разбитый,
И гул извне вставал враждебных голосов.*

Измяты, желтизной подернулись лица,
Крылом изломанным дрожали веера,
В сердцах у всех была дочитана страница,
И новый в окнах свет шептал: «Пора! Пора!»

И вдруг все замерли, вот, скорбно доцветают,
Стараясь продлить молчаньем забытьё: —
*Так утром демоны колдуний покидают,
Сознавши горькое бессилие свое.*

Сходным образом выстроен финал в стихотворении В. Я. Брюсова «В ресторане» (1905):

Ты вновь со мной! ты – та же! та же!
Дай повторять слова любви...
*Хохочут дьяволы на страже,
И алебарды их – в крови.*
Звени огнем, – стакан к стакану!
Смотри из пытки на меня! —
Плывет, плывет по ресторану
Синь воскресающего дня.

В лирике Андрея Белого этот мотив может завершать стихотворение, как в стихотворении «Пир» (1905):

Суровым отблеском покрыв,
Печалью мертвенной и блеклой
*На лицах гаснущих застыв,
Влилось сквозь матовые стекла —*

*Рассвета мертвое пятно.
День мертвенно глядел и робко.*
И гуще пенилось вино,
И шелкало взлетевшей пробкой.

Но текст может и начинаться с мотива рассвета, как в стихотворении «Меланхолия» (1904), и тогда тема ночного разгула демонических сил вводится в текст как воспоминание:

*Пустеет к утру ресторан.
Атласами своими феи
Шушукуют. Ревет орган.
Тарелками гремят лакеи —*

Меж кабинетами. Как тень,
Брожу в дымятотекущей сети.
Уж скоро золотистый день
Ударится об окна эти,

Пересечет перстами гарь,
На зеркале блеснет алмазом...

Такое соединение демонических локусов с чередованием дня и ночи имеет самые древние фольклорные корни: в сказках и легендах любые встречи с потусторонними силами происходят именно ночью. Однако традиционные временные рамки сочетаются в символистской поэзии с сугубо нетрадиционными пространственными локусами, формируя ряд неклассических хронотопов. Мотивная структура, «словарь», сюжетные ситуации демонических хронотопов в этой статье будут продемонстрированы на примере локуса «ресторан».

Ресторан

Одним из наиболее частотных городских локусов в пространстве демонтированного «страшного мира» является ночной ресторан и его вариации – трактир, каба́к. Среди наиболее известных символистских текстов, формирующих этот хронотоп, – «В ресторане» и «Обряд ночи» В. Я. Брюсова, «Меланхолия», «Вакханалия», «В Летнем саду» Андрея Белого, «Незнакомка», «В ресторане», «Я пригвожден к трактирной стойке...», «Когда-то гордый и надменный...», «Где отдается в длинных залах...» А. А. Блока, «Трактир жизни» и «Кулачишка» И. Ф. Анненского.

В ряде текстов пространство ресторана прямо названо «а́дом» или инфернальные персонажи участвуют в сюжете стихотворения (курсив мой. —Д. М.):

Горите белыми огнями,
Теснины улиц! *Двери в ад,*
Сверкайте пламенем пред нами,
Чтоб не блуждать нам наугад!
Как лица женщин в синем свете
Обнажены, углублены!
Вметайте яростные плети
Над всеми, дети Сатаны!

(В. Я. Брюсов. В ресторане)

Слышу говор, и хохот, и звоны стаканов.
Это дьяволы вышли, под месяц, на луг?
<.....>
Но жертва кто из нас? Ты брошена на плахе?
Иль осужденный – я, по правому суду?
Не знаю. Все равно. Чу! красных крыльев взмахи!
Голгофа кончилась. Свершилось. Мы в аду.

(В. Я. Брюсов. Обряд ночи)

Цвети средь нелючного ада
То грузных, то гулких шагов,
И стонущих блоков и чада,
И стука бильярдных шаров.

(И. Ф. Анненский. Кулачишка)

Д. Е. Максимов отметил эту инфернализацию «ресторанного» хронотопа в связи с анализом стихотворения Брюсова «В ресторане»: «... Возникающий в стихотворении образ ресторана, сохраняя все свои материальные признаки, предстает перед читателем транспонированным: *sub specie aeternitatis*, в аспекте вечности и "под знаком мистерии"⁹⁰. Однако эта черта свойственна вообще всем «ресторанным» стихам поэтов-символистов.

Одна из важнейших ситуаций «ресторанного» сюжета – встреча с персонажем из «другого» мира. В этой роли может выступать двойник, появляющийся в ресторанном зеркале:

⁹⁰ Максимов Д. Е. Брюсов. Поэзия и позиция. С. 120.

*Там – в зеркале – стоит двойник;
Там вырезанным силуэтом —*

Приблизится, кивает мне,
Ломает в безысходной муке
В зеркальной, в ясной глубине
Свои протянутые руки.

(Андрей Белый. Меланхолия)

На двойственной природе героини («Иль это только снится мне...») – неясно, происходит ли вообще эта встреча и кто такая Незнакомка, женщина легкого поведения или пленная Душа мира, – строится сюжет встречи с иным миром в стихотворении А. А. Блока «Незнакомка». В ряде «ресторанных» стихотворений Андрея Белого переломным пунктом сюжета оказывается появление таинственного персонажа в маске или домино, приносящего с собой смерть или пророчащего гибель – вся ситуация явно ориентирована на знаменитый рассказ Э. По «Маска Красной смерти»:

*...Вдруг крылья ярко-красной тоги
Так кто-то над толпой вознес —
Бежать бы: неподвижны ноги.*

*Тяжелый камень стекла бьет —
Позором купленные стекла.
И кто-то в маске восстает
Над мертвенною жизнью, блеклой.*

Волнуются: смятенье, крик.
Огни погасли в кабинете; —
Оттуда пробежал старик
В полузастегнутом жилете, —

И падает, – и пал в тоске
С бокалом пенистым рейнвейна
В протянутой, сухой руке
У тиховойного бассейна; —

Хрипит, проколотый насквозь
Сверкающим, стальным кинжалом:
Над ним склонилось, пролилось
Атласами в сиянье алом —

*Немое домино: и вновь,
Плеца крылом атласной маски,
С кинжала отирая кровь,
По саду закружилось в пляске.*

(Андрей Белый. В Летнем саду)

Возясь, перетащили в дом
Кровавый гроб два арлекина.

Над восковым его челом
Крестились, наклонились оба —
И полумаску молотком
Приколотили к крышке гроба.

Один – заголосил, завыл
Над мертвым на своей свирели;
Другой – цветами перевил
Его мечтательных камелий.

(Андрей Белый. Вакханалия)

Ресторан в символистской лирике оказывается своего рода границей между мирами, и повторяющийся сюжетный ход во всех такого рода текстах – переход границы между эмпирически данным и потусторонним миром. Ср.:

Слышу говор, и хохот, и звоны стаканов.
Это дьяволы вышли, под месяц, на луг?

(В. Брюсов. Обряд ночи)

Взор во взор – и жгуче-синий
Обозначился простор.

Магдалина, Магдалина!
Дует ветер из пустыни,
Раздувающий костер.

(А. Блок. Из хрустального тумана...)

Там все – игра огня и рока,
И только в горький час обид
Из невозвратного далека
Печальный Ангел просквозит.

(А. Блок. Где отдается в длинных залах...)

Словарь (предметный мир) «ресторанного» текста достаточно узнаваем. Прежде всего, почти во всех текстах упоминаются

– «зал» или «кабинет»: *Пустой громадный зал чуть озарен (В. Брюсов); Я сидел у окна в переполненном зале; Передо мною бесконечный зал; Мне этот зал напомнил страшный мир; Где отдается в длинных залах; В кабинете ресторана За бутылкою вина (А. Блок); Старик в отдельный кабинет Вон тащит за собой ребенка (А. Белый);*

– «огни» («костер», «пожар»): *Словно в огненном дыме все лица и вещи, Как хороши при огнях...; Кольца огня (В. Брюсов); Веет ветер из пустыни Раздувающий костер; Пожаром зари Сожжено и раздвинуто бледное небо; Там все – игра огня и рока (А. Блок); И всё на миг Зажжется желтоватым светом; Огни погасли в кабинете (А. Белый);*

– **«вино» (и связанные с ним мотивы «золота», «игры»):** *А со дна поднимаются искры вина, Умирают, вздохнув и блеснув на мгновенье, Умирает, смеясь, золотое вино* (В. Брюсов); *И хмельней золотого Аи; За бутылкою вина; Ищу забвенья в радостях вина; Золотого, как небо, Аи; Что пляшут в стакане вина золотистые змеи; Где вина теплятся в бокалах* (А. Блок); *В подставленный сосуд вином Струились огненные росы; Осанистый лакей С шампанским пробежал пьянящим* (А. Белый); *Муть вина, нагие кости; Как в кошмаре, то и дело: «Алкоголь или гашиш?»* (И. Ф. Анненский);

– **«хрусталь»:** *Как хороши, при огнях, ограненный хрусталь* (В. Брюсов); *Из хрустального тумана; Поют и плачут хрустали* (А. Блок).

Атмосфера ресторана описывается с помощью мотивов **«дыма» (огненного дыма), «тумана», «сумрака», «чада»:** *Словно в огненном дыме земные виденья; Но почему темно? Горят бессильно свечи* (В. Я. Брюсов); *Брожу в дымятотекущей сети; Из душиного, ночного мрака* (А. Белый); *Вон счастье мое – на тройке В серебристый дым унесено* (А. А. Блок); *Тот же гам и тот же чад* (И. Ф. Анненский).

У Брюсова и Блока с ресторанным «хронотопом» связаны образы **ресторанных скрипок, ресторанный (у Блока – цыганского) пения:** *Визг цыганского напева Налетел из дальних зал. Дальних скрипок вопль туманный; Чтоб в пустынном вопле скрипок Перепуганные очи Смертный сумрак погасил; Я слепнуть не хочу от молнии грозовой, Ни слушать скрипок вой (неистовые звуки!)* (А. А. Блок); *Скрипка визгливая, Арфа певучая* (В. Я. Брюсов).

С «ресторанным» хронотопом связана и тема, особенно очевидная в стихотворениях Брюсова и Блока — **тема эротики, экстаической страсти, вырождающейся в бытийственную скуку и ад существования.** В стихотворениях Брюсова «В ресторане» и «Обряд ночи» и двух циклах Блока, сосредоточивших большинство его «ресторанных» стихотворений – «Арфы и скрипки» и «Страшный мир», – нашли отражение излюбленные Брюсовым и подхваченные Блоком темы страсти-распятия, Голгофы, а также уничтожающей, убивающей страсти: *И меня, наконец, уничтожит / Твой разящий, твой взор, твой кинжал; Чтоб в пустынном вопле скрипок / Перепуганные очи / Смертный сумрак погасил; Знаю, выпил я кровь твою, / Я кладу тебя в гроб и пою.*

Может показаться, что большинство из повторяющихся «ресторанных» мотивов совпадают с обычным набором предметов и действий, организующим пространство ресторана. Но стоит сравнить эти описания с ресторанными сценами и мотивами в классической русской поэзии, предшествующей символистам, и в постсимволистской лирике, как бросится в глаза одна несомненная странность: в символистском ресторане не едят! Никаких упоминаний о еде не встретить ни в одном стихотворении о ресторане. Говорится только о вине, но и вино в символистском тексте зачастую играет роль скорее эмблемы (ср. знаменитое «Я послал тебе черную розу в бокале Золотого, как небо, Аи»), нежели напитка.

Между тем, достаточно вспомнить описание ресторана в первой главе «Евгения Онегина», чтобы стала ясна принципиальная разница в восприятии этого хронотопа в классической и символистской культуре:

Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток,
Пред ним *roast-beef* окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

(Глава первая. XVI)

М. А. Кузмин, печатавшийся в символистских журналах, но тяготевший к «преодолевшим символизм», начинает цикл «Любовь этого лета» с описания «веселой легкости бездумного житья» и в первой же строфе рисует ресторанный трапезу:

Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку
И вишен спелых сладостный агат?

В стихотворении «Счастливые дни» цикла «Прерванная повесть» он вновь возвращается к тому же эпизоду прогулки с другом и даже точно называет ресторан – излюбленную петербургскими писателями «Вену»:⁹¹

Мы верны правилам веселого быта,
И «Шабли во льду» нами не забыто,
Жалко, что Вы не любите «Вены».

В лирике акмеистов – А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама – ресторанный тема полностью теряет демонические коннотации и, как и у Кузмина, вновь становится местом, где обедают и ужинают:

Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

(А. А. Ахматова. Вечером)

Над Курюю есть духаны,
Где вино и милый плов,
И духанщик там румяный
Подает гостям стаканы
И служить тебе готов.

(О. Э. Мандельштам. Мне Тифлис горбатый снится...)

Более того, символист Александр Блок, один из создателей демонизированного хронотопа ресторана в поэзии, заговорив в поэме «Возмездие» об эпохе своего деда, А. Н. Бекетова, сразу же точно называет ресторан Бореля, в котором в 1870-х годах устраивались обеды «Отечественных записок», и упоминает не вино, а подаваемые блюда:

И на обедах у Бореля
Ворчат не плоше Щедрина:
То не доварены форели,
А то уха им не жирна.

⁹¹ См. подробнее об истории этого ресторана и его роли в жизни петербургской богемы: Десятилетие ресторана «Вена»: Литературно-художественный сб. СПб., 1915; *Конечный А. М.* «Трактирные заведения» как факт быта и литературной жизни старого Петербурга // Петербургские трактиры и рестораны. СПб., 2005. С. 3—57, 214—270. Примечательно, что ни у кого из анализируемых здесь поэтов-символистов ресторан не получает никакой топографической локализации и не назван по имени. Ср., напротив, у Пушкина: «К Talon помчался» (Глава первая. XV).

Самостоятельная сфера для исследования – демонизация ресторана (трактира, кабака) в символистской прозе. Один из самых ярких прецедентов, несомненно, роман Андрея Белого «Петербург», в котором на общем фоне демонизированного города особо выделены три локуса – бал-маскарад, фабрики и ресторан.

Первая «ресторанная» сцена в первой главе романа вводит мотив «мира теней», а два агента-провокатора перед входом в ресторан описаны как порождение потустороннего мира: «Пара прошла пять шагов, остановилась; и опять сказала несколько слов на человеческом языке. (...) Две тени медленно утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка в полукотиковой шапке с наушниками показалась опять из тумана, посмотрела опять на петропавловский шпиц.

И вошла в ресторанчик⁹²»

Появление провокатора Липпанченко в ресторане описано через восприятие Дудкина и тоже выглядит как возникновение инфернального персонажа: «...Ему показалось, что некая гадкая слизь, проникая за воротничок, потекла по его позвоночнику. Но когда обернулся он, за спиной не было никого: мрачно как-то зияла дверь ресторанный входа; и оттуда, из двери, повалило невидимое».⁹³

В авторском комментарии вся сцена в ресторане становится своего рода «соответствием» мировой, космической сферы, живущей в предчувствии катастрофы: «...Ресторанные голоса покрывали шепот Липпанченко; что-то чуть шелестела из отвратительных губок (будто шелест многих сот муравьиных членистых лапок над раскопанным муравейником) и казалось, что шепот тот имеет страшное содержание, будто шепчутся здесь о мирах и планетных системах; но стоило вслушаться в шепот, как страшное содержание шепота оказывалось содержанием будничным».⁹⁴

Второй «ресторанный» разговор из Главы пятой начинается с описания Невского проспекта как особо отмеченного инфернализованного локуса, при этом «ресторанчики» выделены в этом описании особо: «... Обозначился Невский Проспект, где стены каменных зданий заливаются огненным мороком во всю круглую, петербургскую ночь и где яркие ресторанчики кажут в оторопь этой ночи свои ярко-красные вывески, под которыми шныряют все какие-то пернатые дамы, укрывая в боа кармины подрисованных губ, – среди цилиндров, окольшей, котелков, косовороток, шинелей – в световой, тусклой мути, являющей из-за бедных финских болот над мношверстной Россией геенны широкоотверстую раскаленную пасть».⁹⁵ Перед тем как герой романа, Николай Аблеухов в сопровождении агента– провокатора входит в ресторан, в ту же дверь входит пара, в финале сцены отождествленная с Петром I и Летучим Голландцем. Ресторан в этой сцене именуется «адским кабачком», а вся сцена завершается фантастическим образом «губящего без возврата» Медного Всадника.

Возникает вполне закономерный вопрос об источниках демонизации ресторана у символистов.

Очевидно, самые древние корни ресторанный локуса смыкаются с хронотопом пира, амбивалентным по своей природе. Сопровождая важнейшие события в человеческой жизни – рождение, свадьбу, похороны – пир, еда, питье, как показано в работах О. М. Фрейденберг и М. М. Бахтина,⁹⁶ связывают мир живых с миром мертвых (загробные трапезы, Рай как вечный пир, приравнивание трапезы человеческой к трапезе божеской), объясняют присутствие смерти на празднике жизни и, наконец, мотивируют наиболее близкий к символистским представлениям сюжет «пира во время чумы».

⁹² Бельгий А. Петербург. Л., 1998. С. 37, 39.

⁹³ Там же. С. 40.

⁹⁴ Там же. С. 42.

⁹⁵ Там же. С. 203.

⁹⁶ См.: Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 56—62; Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 302–328.

В русской литературе превращение обычного ресторана, трактира, кабака в пограничный локус до символистов начинается в прозе Ф. М. Достоевского. Напомним, что обсуждение «проклятых вопросов» в романах писателя происходит в «съестно-выпивательных заведениях»: в трактирах, кабаках. Это относится не только к «Братьям Карамазовым», где контраст между содержанием бесед «русских мальчиков» и местом их встречи специально подчеркнут, но и, например, в «Преступлении и наказании» (разговоры Раскольникова с Мармеладовым и Свидригайловым или студента с офицером). И если в одном из названных романов черт эпизодичен и персонифицирован (но зато иронически снижен), то в другом, как выразился И. Анненский, «место его было центральное» – при полном отсутствии персонификации: Раскольников удивляется, как это никто до сих пор не додумался «взять просто-запросто все это за хвост и стряхнуть к черту».

Поскольку именно у столь ценимого писателями Серебряного века Достоевского одновременно с общей демонизацией города появляется концентрация демонических сил в отдельных локусах, этот художественный принцип не мог не отозваться и в произведениях писателей, не принадлежавших к символизму или даже от него далеких. Дорогой ресторан или жалкий кабак уподобляются преисподней в повести И. С. Шмелева «Человек из ресторана», и в «Коновалове» Горького, и в рассказах И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» и «Петлистые уши». Таковы же публичный дом в «Тьме» Л. Н. Андреева и «Фелицатин райшко» в «Городке Окурове», а балы-маскарады – форма проявления inferнальных сил не только в романе Андрея Белого «Петербург», но и в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес», а также в «Голубой звезде» Б. Зайцева и «Ночном принце» С. А. Ауслендера. Одним из наиболее заметных наследников этой традиции в 1930—1940-е годы был М. А. Булгаков, с его знаменитым рестораном «Грибоедов» и балом Воланда в романе «Мастер и Маргарита».

И. С. Приходько. Веселый, веселье, весело, веселиться в символистском словаре Александра Блока

*Ибо не вином только весел человек,
но всякою игрою своего божественного духа.*

Вяч. Иванов

Слово *веселый* со всеми его производными – одно из знаковых в символистском словаре Блока. Наиболее часто оно звучит в Первом и, особенно, во Втором томе лирики. По данным З. Г. Минц, в Первом томе – 19 употреблений слов этого ряда.⁹⁷ Во Втором, по моим подсчетам, – 28. Число их резко сходит на нет в Третьем – всего 9. Однако рассматриваемое слово в его специфических смыслах возвращается в поздних текстах: в поэме «Двенадцать» (1918) и в речи «О назначении поэта» (10 февраля 1921).

Это слово в его общеупотребительном значении в сопоставлении со словом *радость*, высокий духовный смысл которого раскрыл в своем исследовании А. Б. Пеньковский,⁹⁸ нередко воспринимается как лишенное духовного смысла, выражающее беззаботно-радостное состояние, склонное к развлечениям и другим проявлениям хорошего настроения и жизнерадостности. Именно такое определение дают все основные словари русского языка,⁹⁹ включая и Словарь языка Пушкина. Почти в каждом из них встречаем тавтологические определения: *веселый* – «склонный к веселью», *весело* – «в весельи», *веселье* – «веселость»¹⁰⁰ и т. п.

Священное Писание уравнивает в духовном статусе слова *радость* и *веселье*, используя их не просто как синонимы, но очень часто в парном удвоении.¹⁰¹ Например: «Дай мне услышать *радость* и *веселие*» (Пс. 50.10); «вот, *веселие* и *радость!*» (Ис. 22.13); «найдут *радость* и *веселие*» (Ис. 35.10); «было слово Твое мне в *радость* и в *веселие* сердца» (Иер. 15.16); «будет тебе *радость* и *веселие*» (Лк. 1Л4); «*Веселитесь* о Господе и *радуйтесь*, праведники» (Пс. 31Л1), и др.

Веселие одухотворено в Священных текстах не менее, чем *радость*. В Псалмах Давида это способ прославления Господа: «Служите Господу с *веселием*» (Пс. 99.2); «о Нем *веселится* сердце наше» (Пс. 32.21); «буду *веселиться* о Господе» (Пс. 103.34), и др. Уста, славящие Господа, «полны *веселием*» (Пс. 125.2). Сам Давид проявляет свое *веселие* служения Господу необузданно: «увидев... Давида, скачущего и *веселящегося*» (1 Пар. 15.29). Источник этого *веселия* – сам Бог: «Ты исполнил сердце мое *веселием*» (Пс. 4.8); «Ты... препоясал сердце мое *веселием*». *Веселие* – это радость творческого свершения: «да *веселится* Господь о делах Своих!» (Пс. 103.34). *Веселием* полны небеса и творение Господа: «*веселитесь*, небеса и обитающие на них!» (Отк. 12.12); «*веселись* о сем, небо» (Отк. 18.20); «Да *веселится* гора Сион» (Пс. 47.12). *Веселие* – праздник праведных: «сияет... на правых сердцем *веселие*» (Пс. 96.11). Когда Господь хочет покарать беззаконных, Он запрещает *веселие*: «Исчезло с плодоносной земли *веселие*» (Ис. 16.10); «прекратилось *веселие* с тимпанами» (Ис. 24.8); «изгнано всякое *веселие* с земли» (Ис. 24.11); «И прекращу в городах Иудеи... голос торжества и голос *веселия*» (Иер. 7.34).

⁹⁷ Минц З. Г. Частотный словарь «Первого тома» лирики А. Блока // Труды по знаковым системам. V. Тарту. 1971. С. 313.

⁹⁸ Пеньковский А. Б. *Радость а у довольствие* в представлении русского языка // Пеньковский А. Б. Очерки по русской семантике. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 61–72.

⁹⁹ Словарь современного русского литературного языка. Т. 2. М.; Л., 1951. С. 215–219; Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1. М., 1935. С. 259; Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. Т. 1. М., 2000. С. 163.

¹⁰⁰ Словарь языка Пушкина: В 4 т. Ин-т языкознания АН СССР. Т. 1. М... 1956. С. 247–250.

¹⁰¹ Речь, конечно, идет о Синодальном переводе.

Праздник для праведных связан со всяческим изобилием и радостью о нем: «станем есть и *веселиться*» (Лк. 15.23); «*веселись* в праздник твой» (Вт. 16.14); «*веселись* о всех благах» (Вт. 26.11). Господь щедро подает земные блага, и их нужно принимать с *веселием*: «принимали пищу в *веселии* сердца» (Деян. 2.46); «ешь с *веселием* хлеб свой» (Ек. 9.7); «вино, которое *веселит* сердце» (Пс. 103.15). Но *веселием* исполняется и духовный подвиг поста: «пост... соделается... *веселым* торжеством» (Зах. 8.19).

Единичным оказывается в Библии *веселие* в негативном смысле: «сердце глупых – в доме *веселия*» (Ек. 7.4). Характерно, что это словоупотребление встречаем в книге Екклезиаста – великой книге отрицания, где все земное – и добро, и смех, и *веселие* – суета: «Сказал я в сердце моем: "дай, испытаю я тебя *веселием*, и насладись добром"; но и это – суета! О смехе сказал я: «глупость!» а о *веселии*: «что оно делает?»» (Ек. 2.1–2).

Для русских поэтов Библия – сокровищница слов и смыслов. Поэты пушкинского круга создавали свою поэтическую традицию еще и на основе античных текстов. В словоупотреблении Пушкина эти два потока сливаются.

Слово *веселый* у Пушкина не менее значимо и частотно, чем у Блока.

В ранних стихах антологического направления это слово появляется в античном контексте. Например: «*Веселье* резвое и нимфы Геликона Твою счастливую качали колыбель» [2(1), 21]¹⁰² «Амур уже с поклоном Расстался с красотой. И вслед за Купидоном *Веселья* скрылся рой» [1, 216] и др.

Народное и церковнославянское слышны в таких строках: «И садятся все за стол; И *веселый* пир пошел» [3, 532]. Слово *веселый* у Пушкина семантически связано с молодостью и ее удовольствиями: «Во дни *веселий* и желаний Я был от балов без ума» [6, 17]; «Я предаюсь вихрю *веселия* со всею живостью моих лет» [8, 149], и др. Еще более веселье свойственно детству, поэтому Земфира у Пушкина «*веселья* детского полна».

Пушкин почувствовал вибрацию, заложенную в семантической структуре этого слова, выражающего динамику движения, состояние необычайной подвижности, резвости, мельтешения, свойственного не только молодости и детскому возрасту, но и явлениям природного мира: «На утес Олень *веселый* выбегает» [3(1), 216]; «*Веселый* конь летит и ржет» [4,63]; «В окно увидела Татьяна... Сорок *веселых* на дворе» [6, 97]. Отмечен у Пушкина и контраст *веселый* – *печальный*: «На небесах *печальная* луна Встречается с *веселою* зарею» [2(1), 368].

Знаменательно пушкинское *веселье* в значении *отрада, утешение*, обращенное к певцу-поэту: «Идет, и на скале, обросшей влажным мохом, зрит барда старого – *веселье* прошлых лет» [1, 29]; или о Ломоносове: «*Веселье* россиян, полунощное диво» [1, 152].

Этот далеко не полный перечень семантических возможностей слов данного ряда у Пушкина необходим в качестве вступления к предложенной теме, поскольку именно это слово Блок избирает для выражения своего (и не только своего) восприятия Пушкина:

Наша память хранит с малолетства *веселое* имя Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними – это *легкое* имя: Пушкин.¹⁰³

Конечно, не только творческая привязанность Пушкина к слову *веселый* подсказывает Блоку нужное для определения имени Пушкина слово. Чуткий слух поэта улавливает совершенно особые ритм и фоннику этого имени, знакомого каждому с детства и созвучного со словами детского словаря: *пушка, игрушка*. И связано это легкое, как *пушинка*, имя с первым детским чтением – сказками Пушкина. Детскость Пушкина как важное качество его личности,

¹⁰² Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 17 т. М.: АН СССР, 1937–1949 / 1994–1997. Т. 2 (1). С. 21. Здесь и далее отсылки к этому изданию даются в тексте в квадратных скобках с указанием тома и страницы арабскими цифрами через запятую.

¹⁰³ Блок А. А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л... 1960–1963. Т. 6. С. 160.

пронесенное через жизнь, воспринималась Блоком совершенно органично. В Дневнике 2 февраля 1912 года, в связи с публикациями к 75-летию его смерти и, в частности, с воспроизведенным рисунком П. Ф. Бореля «Возвращение Пушкина с дуэли» (1885), он делает имеющую для него особое значение запись: «Пушкин в „Русском слове“. Совсем как маленького мальчика, его, раненого, выносят из кареты».¹⁰⁴ Но главное для Блока в восприятии Пушкина – это его творческое существо:

Мы знаем Пушкина – человека, Пушкина – друга монархии, Пушкина – друга декабристов. Все это бледнеет перед одним: Пушкин – поэт.¹⁰⁵

И как поэт, Пушкин

легко и *весело* умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта – не легкая и *не веселая*; она трагическая; Пушкин вел свою роль широким, уверенным и вольным движением, как большой мастер.¹⁰⁶

И оставался, даже как поэт, ребенком. Легко представить Пушкина в известном эпизоде его биографии «скачущим и веселящимся», когда он, по завершении «Бориса Годунова», восклицает: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!». Этот эпизод отзовется у Блока, который, завершив свою поэму «Двенадцать», с упоением воскликнет: «Сегодня я – гений». Пушкинское состояние творческого *веселья*, родственного моцартианской легкости, прежде всего свяжет это слово с именем Пушкина в восприятии Блока.

Однако к такому пониманию исследуемого слова Блок придет не сразу. В начальном, отроческо-юношеском периоде его творчества оно вообще ему чуждо. В первом цикле Первой книги стихов – «Ante Lucem» – оно практически не встречается, за исключением единичного случая, и то в отрицательном смысле, в стихотворении «Зачем, зачем во мрак небытия...», 29 июня 1899 (I: 23),¹⁰⁷ выражающем юношескую меланхолию: «И нечем сердцу *веселиться*...»

Свое устойчивое место слова этого ряда займут в «Стихах о Прекрасной Даме» и цикле «Распутья» (1901–1904).¹⁰⁸ Здесь, наряду с нейтрально-словарным значением, слово *веселый* и его производные получит не только традиционно-поэтические, но и специфически блоковские коннотации. Обращает на себя внимание спаянность этого слова с устойчивым у Блока и связанным с героиней образом *весны*. Блок играет созвучием этих слов: «Слышу колокол. В поле *весна*. Ты открыла *веселье* окна» (I: 104). Паронимическая аттракция слов *весна* – *веселье*, *веселый* – *весенний* находит подкрепление в семантике. Слово *веселье* выражает движение, пробуждаемое *весною*, пестроту красок и сверканье солнечных лучей, ее характерные звуки, шум вод и голоса птиц. Но не только мир природы приходит в движение, оживлен и человеческий мир. Люди, проводившие зимнее время в домах, выходят на волю. Их жизнерадостные голоса дополняют весеннюю разноголосицу. Таким образом, сопряжение *весны* и *веселья* имеет вполне реалистический подтекст, проявленный в ряде стихотворений. Именно так начинается стихотворение, написанное 18 февраля 1902 (I: 95):

Мы живем в старинной келье
У разлива вод.
Здесь *весной* кипит *веселье*,

¹⁰⁴ Там же. Т. 7. 1963. С. 128.

¹⁰⁵ Блок А. А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л... 1960–1963. Т. 6. С. 160.

¹⁰⁶ Там же.

¹⁰⁷ Отсылки к первым пяти томам лирики в Полном академическом собрании сочинений А. А. Блока даются в тексте в скобках с указанием тома римской и страницы арабской цифрой: Блок А. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. I–V. М.: Наука, 1997–1999.

¹⁰⁸ Мотив *веселья* как играющий «существеннейшую роль в ранних стихах Блока» отмечен Н. А. Кожевниковой: Кожевникова Н. А. Словоупотребление в русской поэзии начала XX века. М.: Наука, 1986. С. 168.

И река поет.

Но далее в этом стихотворении *весна* и *веселье* сливаются в метафизической реальности, пролагая пути «В несказанный свет»:

Но в предвестии *веселий*,
В день *весенних* бурь
К нам прольется в двери келий
Светлая лазурь.
И полны заветной дрожью
Долгожданных лет,
Мы помчимся к бездорожью
В несказанный свет.

Еще более поразительно сопряжение мистического и реального, сна и яви в стихотворении «Мне снились веселые думы...» 11 марта 1903 (1: 150):

Мне снились *веселые* думы,
Мне снилось, что я не один...
Под утро проснулся от шума
И треска несущихся льдин.

Я думал о сбывшемся чуде...
А там, наточив топоры,
Веселые красные люди,
Смеясь, разводили костры;

Смолили тяжелые челны...
Река, распевая, несла
И синие льдины, и волны,
И тонкий обломок весла...

Пьяна от *веселого* шума,
Душа небывалым полна...
Со мною — *весенняя* дума,
Я знаю, что Ты не одна...

Мечта лирического героя о Ней, дважды нереальная («снились... думы»), подкреплённая анафорическим зачином («Мне снились...»), противопоставлена реальности ледохода на реке и энергичной деятельности людей у реки: «наточив топоры», «Смеясь, разводили костры», «Смолили тяжелые челны». Эпитеты, характеризующие людей, – «Веселые, красные» – дополняют образ их деятельности. Их лица покраснели от бодрящего весеннего воздуха и жаркой работы, их смех раздаётся далеко окрест. Эта живая жизнь людей на фоне разыгравшейся весенней реки втягивает в себя и лирического героя: «Пьяна от *веселого* шума, Душа небывалым полна...». Его мечта – уже не сон о *веселых* думках, а сама «*весенняя дума*», и уже не сон, а *знание* о Ней: «Мне *снилось*, что я не один» – «Я *знаю*, что Ты не одна...». Взаимозамена «*веселые думы*» и «*весенняя дума*», обрамляя стихотворение, подтверждает семантическую близость эпитетов.

С *весельем* у Блока связана и мистическая *встреча*:

Будет день, словно миг *веселья*.
Мы забудем все имена.
Ты сама придешь в мою келью
И разбудишь меня от сна.

Это стихотворение тесно сопряжено с двумя предыдущими переключками слов. Кроме *веселья*, откликаются слова *келью*, *от сна*, *дрожью*, *думы*. Таким образом, предшествующие стихотворения со снами и думами о Ней выстраиваются вокруг момента *веселой встречи*, встречи смертного с Божеством через таинство Причастия:

Но тогда – величавей и краше,
Без сомнений и дум *приму*
И до дна исчерпаю *чаши*,
Сопричастный Дню Твоему.

31 октября 1902 (I: 129)

К этому же циклу *веселой встречи*, *долгожданного Дня и часа* относится стихотворение «Я укрыт до времени в приделе...», 29 января 1902 (I: 91–92):

Я укрыт до времени в приделе,
Но растут великие крыла.
Час придет – исчезнет мысль о теле,
Станет высь прозрачна и светла.

Так светла, как в день *веселой встречи*,
Так прозрачна, как твоя мечта.
Ты услышишь сладостные речи,
Новой силой расцветут уста.

Обетованием встречи, верой в ее неизбежность, подобную той, с которой *холодные мятели* сменяет *весна*, завершается стихотворение. Ожидание этой *веселой, весенней встречи* лирическим героем не пассивно: монашеское затворничество и духовный рост – ее условия:

Час придет – в холодные мятели
Даль *весны* заглянет, *весела*.
Я укрыт до времени в приделе.
Но растут всемошнные крыла.

Как видим, услышать и понять блоковское слово можно только в контексте стихотворения или даже ряда стихотворений, не обязательно поставленных одно за другим, нередко расположенных хаотично внутри цикла или книги, но ориентиром неизменно служит слово или группа слов, которые становятся кодом единого текста. А также дата, поставленная под стихотворением, где важен не только год, но и месяц и число. В таком прочтении становится понятно, почему Блок был так неукоснительно пунктуален в проставлении

Характерно, что уже в Первом томе лирики слово *веселый* включено в контекст смерти. По воспоминаниям М. А. Бекетовой, отношение Блока к смерти «всегда было светлое». ¹⁰⁹ В

¹⁰⁹ Бекетова М. А. Александр Блок и его мать. Воспоминания и заметки. Л., 1925. С. 76.

ранее рассмотренных стихотворениях *веселая встреча* с Нею, «Подругой вечной», возможна лишь за пределами земной жизни. Душа деда в стихотворении «На смерть деда» (1 июля 1902 г.) (I: 110) с *весельем* покидает земной прах:

Там старец шел – уже как лунь седой —
Походкой бодрою, с *веселыми* глазами.
Смеялся нам, и все манил рукой,
И уходил знакомыми шагами.

И далее:

Но было сладко душу уследить
И в отходящей увидеть *веселье*.
Пришел наш час – запомнить и любить,
И праздновать иное новоселье.

Знаменательно, что дата тем же курсивом, поставленная в скобки, вынесена под заголовок. Конечно, это и дата создания стихотворения, и дата события, которому оно посвящено. Документальность этого текста была важна Блоку. *Придет час, Пришел наш час, час настал* – это кульминационный временной пуанту Блока, момент события, ожидаемого и всегда внезапного, субъективно переживаемый, но назначенный свыше.

В стихотворении «Двойник» (30 июля 1903, с. *Шахматово*) старец следует неотступно за юным героем «в наряде шута-Арлекина», «Оба – в звенящем наряде шутов». Стихотворение написано в конце того же июля 1903 года, поэтому неудивительно мистическое двойничество со стариком. Пространные редакции и варианты этого стихотворения, сохранившиеся в Записных книжках и в Третьей тетради, подтверждают предположение о связи этого стихотворения Блока со смертью его деда. Они дают понять, что это стихотворение родилось из наваждения: мертвый старик преследует героя, является ему, не отпускает его. Выборочно привожу свидетельства:

Будут и к вам незнакомые гости,
Мертвых в постели я к вам положу!
(...)
Только взгляните! Старик мой не нищий!
Держит в руках не клюку, не суму.
Люди, поймите! Со мною кладбище!
(...)
Может быть стоит вам только заметить
Редкое сходство, безвестную связь —
Он отойдет – и навеки не встретить
Он – мое мертвое, он – мое злое,
Он не дает мне постигнуть
(...)
Старый и мертвый хохочет над вами,
Юный и сильный – вам преданный брат.¹¹⁰
Юный и мертвый – сплелись, обнялись...

¹¹⁰ Блок А. А. Черновой автограф. Записная книжка 6 Н Блок А. А. Поли. собр. сочинений и писем: В 20 т. Т. I. М.: Наука. 1997. С. 343–346.

(...)

Дряхлый – он мертв, он хохочет над вами,
Юный – он страстно вам преданный брат!¹¹¹

Но в первую очередь интересен странный оксюморон в основном тексте стихотворения, включающий оба исследуемых слова и выражающий меру спаянности двойников, подобных сиамским близнецам:

В *смертном весельи* – мы два Арлекина —
Юный и старый – сплелись, обнялись!..

О, разделите! Вы видите сами:
Те же глаза, хоть различен наряд!..
Старый – он тупо глумится над вами,
Юный – он нежно вам преданный брат!

Загадочное *смертное веселье* также проясняется в первоначальных текстах, причем варианты в ЧА Записных книжек и Третьей тетради стихов в этих строках, за исключением знаков препинания, совпадают:

В *смертной тревоге* – нас два Арлекина —
Юный и мертвый – сплелись, обнялись.

Жизнь и смерть перед *розовым ликом* Коломбины, страсть и старческий хохот, нежность и глумление, влюбленность и скепсис выражают эти двойники, и отделить себя один от другого они не могут: «О, разделите!» *Веселье* в черновом автографе сохранено, но перешло в начало в виде вариантов:

Было всю ночь ликованье на лицах Кто-то *веселый*

Шопот надежды, *веселый* личина, Или тоска – не узнать, не сказать...

Сама форма множественного числа слова *веселый* приобретает у Блока смысл праздных развлечений и чувственной страсти, особенно во втором томе лирики, например: «Чтоб, раз вкусив твоих *веселый*, навеки помнить эту ночь» (II: 85); «...женщина, ночных *веселый* дочь» (II: 110) или: «Серебром моих *веселый* Оглушу» (II: 149) (вспомним пушкинское «Во дни *веселый* и желаний...»). В анализируемой редакции это показное веселье («*веселый* личина»), за которым скрывается *тоска*, а в окончательном тексте – шутовское веселье, веселье паяца на публике, обратная сторона этого веселья – ужас и отчаянье. Эту тему Блок разовьет в статье «Ирония» (1908):

Я знаю людей, которые готовы задохнуться от смеха, сообщая, что умирает их мать, что они погибают с голоду, что изменила невеста. Человек хохочет – и не знаешь, выпьет он сейчас, расставшись со мною, уксусной эссенции, увижу ли его еще раз? И мне самому смешно, что этот самый человек, терзаемый смехом, повествующий о том, что он всеми унижен и всеми оставлен, – как бы отсутствует; будто не с ним я говорю, будто и нет этого человека, только хохочет передо мною его рот. Я хочу потрясти его за плечи, схватить за руки, закричать, чтобы он перестал смеяться над тем, что ему дороже жизни, – и не могу. Самого меня ломает бес смеха; и меня самого

¹¹¹ Блок А. А. Варианты первоначальной редакции в Третьей тетради // Блок А. А. ПСС. Т. I. С. 346—347

уже *нет*. Нас обоих нет. Каждый из нас – только смех, оба мы – только нагло хохочущие рты.¹¹²

Во Второй книге стихов разветвляется и углубляется семантика слов «веселого» ряда, уже отмеченная в Первой книге: это значения, связанные с весной, молодостью, детством, а также проявленные в сопряжении с отчаянием и смертью. Отличительной особенностью употреблений слова *веселый* и его производных в стихотворениях Второй книги становится переплетение различных семантических направлений между собою, в результате чего образуются сложные семантические комплексы.

Камертоном к циклу «Пузыри земли», открывающему Вторую книгу лирики Блока, является начальное трехстишие первого стихотворения:

На перекрестке,
Где даль поставила,
В печальном веселье встречаю весну.

Эта поразительная по звукописи строка с двойной паронимической аттракцией (*В печальном – встречаю, веселье – весну*) выстраивает и сложные смысловые взаимосвязи: сопряжение слова *веселье* со словами *встреча* и *весна*, с каждым по отдельности и в тройном сочетании, проявилось уже в Первой книге стихов, о чем шла речь выше; антитеза *веселье – печаль, веселый – печальный* отныне займет устойчивое место в словаре Блока, в параллель другой блоковской паре *радость – страданье*,¹¹³ которая также оформилась к этому времени. Эти антонимические пары требуют особого рассмотрения. В приведенной же строке антонимы спаяны в оксюморон.

Печаль и *веселье* связаны у Блока с темой кораблей, их ухода или отсутствия, их ожидания или прибытия:

Мы *печально* провожали
Голубые корабли.

Ее прибытие. Рабочие на рейде.
16 декабря 1904 (II: 46)

К веселью! К веселью! Моря запевают!
Я слышу, далеко идут корабли!
(...)
Над бурей взлетит золотая ракета
Навстречу *веселым* моим кораблям!

Король на площади (1906)¹¹⁴

В контексте прибытия или ожидания кораблей слова *веселье* и *радость* сближаются в своем значении, стоят рядом, почти как в выше приведенных библейских текстах. См., например, в поэме «Ночная фиалка» 1905–1906:

Или гонит играющий ветер

¹¹² Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 345–346.

¹¹³ Приходько И. С. РАДОСТЬ – СТРАДАНИЕ. Материалы к Символистскому словарю А. Блока // Шахматовский вестник. Вып. 9. М.: Наука, 2008. С. 47–51.

¹¹⁴ Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. С. 33.

Корабли из *веселой* страны.
И нечаянно *Радость* приходит,
И далекая пена бушует.
Зацветают далеко огни.

(II: 32)

Однако здесь необходимо учитывать особый семантический ореол слова *Радость*, входящий к иконе Божьей Матери «Нечаянная Радость».¹¹⁵ В православно– церковной традиции *Радость* приобретает особый духовный смысл,¹¹⁶ который, конечно же, актуализирован у Блока, и не только в завершении поэмы «Ночная фиалка»:

Слышу волн круговое движенье,
И больших кораблей приближенье,
Будто вести о новой земле.
Так заветная прялка прядет
Сон живой и мгновенный,
Что нечаянно *Радость* придет
И пребудет она совершенной.

(II: 33),

но и в ряде других текстов, например в стихотворении «Девушка пела в церковном хоре...» *Август 1905* (II: 63–64):¹¹⁷

О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших *радость* свою.
(...)
И всем казалось, что *радость* будет,
Что в тихой заводи все корабли...

Радость и *веселье* сближены, но, в конечном счете, разведены в своей семантике в стихотворении «Голос в тучах» из цикла «Ее прибытие» (II: 48–49). Здесь *веселье* связано с морем, с разыгравшейся ночной бурей, которая, в восприятии погибающих рыбаков, *веселится* подобно бесстыдной блуднице. Очевиден разрушительный характер этого *веселья*:

Больным и усталым – нам было завидно,
Что где-то в морях *веселилась* гроза,
А ночь, как блудница, смотрела бесстыдно
На темные лица, в больные глаза.

И дальше:

Веселую песню запела гроза.

¹¹⁵ Магомедова Д. М. Александр Блок. «Нечаянная Радость» (Источники заглавия и структура сборника) // Магомедова Д. М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М.: Мартин, 1997. С. 139–151.

¹¹⁶ Пеньковский А. Б. *Радость а удовольствие* в представлении русского языка // Пеньковский А. Б. Очерки по русской семантике. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 61–72.

¹¹⁷ Приходько И. С. Церковные источники стихотворения А. Блока «Девушка пела...» // Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания. Вып. 9. Воронеж, 1997. С. 74–81.

Радость обещана тем, к кому обращен «Голос в тучах» – к *печальным*,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.